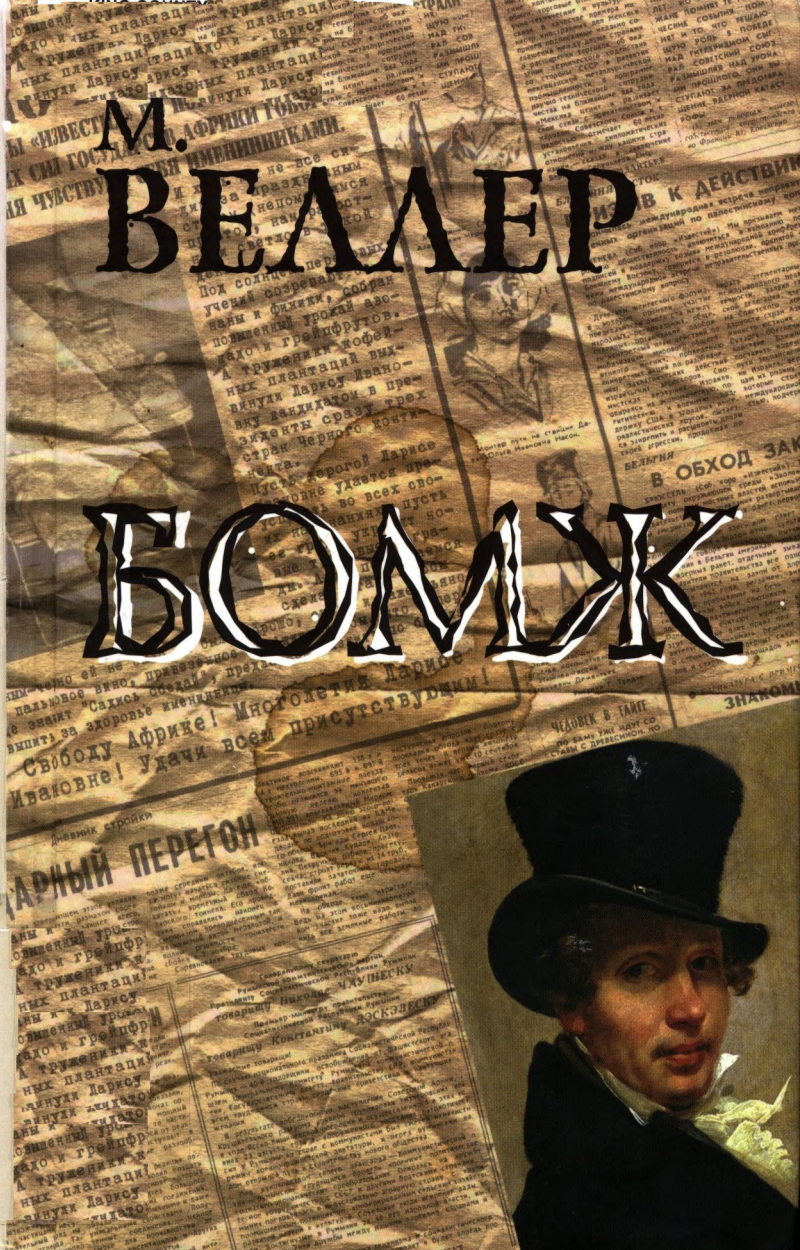


M. BELLAER



BO



М. ВЕЛЛЕР

БОМЖ

Под солнцем перламутровых
 углей и грейфрутов,
 А в Грузии и в Африке
 вьются плантации
 Ивуа Даркост в преле
 эхиденты сразу трех
 стран Черного континента.

Ивуа Даркост в преле
 эхиденты сразу трех
 стран Черного континента.

Ивуа Даркост в преле
 эхиденты сразу трех
 стран Черного континента.

Деловик строит
КАРНЫЙ ПЕРЕГОН

Свободу Африке! Многолетние Даркост
 Ивуаювне! Удачи всем присутствующим!

Господину Николаю ЧАУНЕСКУ
 Господину Константину ДОСКЛЕБИ

В ОБХОД ЗАКОНОВ

ЧЕЛОВЕК В ТАНГЕ

ПО ИМУ УНИ ИДУТ СО
 СТАВКА С ДРЕВНОСТИ, НО



М. ВЕЛЛЕР • БОМЖ



Bomzh
Veller, M. (Mikhail)

M.
ВЕЛЛЕР

БОМЖ

роман



АСТ
Москва

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)6-4
В27

Оформление обложки Александра Кудрявцева

Веллер, Михаил.

В27 Бомж : роман / Михаил Веллер. — Москва: АСТ, 2015. — 224 с.

ISBN 978-5-17-089441-3

Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера «Хочу быть дворником», отвергнутых всеми редакциями, выходил в Советском Союзе пять лет и произвел сенсацию. Автор был принят в Союз писателей СССР по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. В совершенно иных жанрах созданы стократно переизданные бестселлеры «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Теория энергоэволюционизма, впервые изложенная в трактате Веллера «Все о жизни», отмечена медалью Всемирного философского форума в Афинах.

Новый роман Веллера написан в русле главной гуманистической традиции русской классики: жажда справедливости «униженных и оскорбленных».

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)6-4

Содержание

Пробуждение.....	7
Подъем.....	9
Бурение огненной воды.....	11
Закрома родины.....	13
Бартер.....	15
Жизнь прекрасна.....	17
Прогулка.....	20
Белинский.....	25
Отцы и дети.....	29
Цветы жизни.....	34
Голубой звездолет.....	39
Я в замке король.....	42
Хочу понять.....	48
Пророк.....	52
Женский портрет в интерьере.....	61
Собака.....	67
Спасите наши души.....	72
Пьяная травма.....	77

Приют	80
Адаптация	83
Золотая пещера	88
Ларек	92
Нацпредатель	97
Русский Робин Гуд	106
Деклассирование Вертера	113
Объяснение в ненависти	124
Ментовские метаморфозы	131
Свалка	142
Звонок	148
Сумасшедший доктор	157
Мальчик по вызову	168
С приведением характерных высказываний	182
Болезнь	185
Угроза	195
Восстание масс	197
Украинский вопрос	198
Телезвезда	205
Гибель Третьего Рима	211
Затянувшееся прощание	221

Пробуждение

Меня тошнит. Это первое ощущение, которым дает знать о себе жизнь после тягостного распада сна. Я не люблю просыпаться. Нет ничего более мерзкого и безнадежного, чем вывалиться из уютного небытия в очередной день. В теплой темноте забвения начинают вспыхивать звезды и превращаются в гнойные проколы: кольнуло в печени; занули справа ребра; змеистая резь в желудке; наждак во рту; очередной дневной круг бессрочной ка-торги.

От всего кругом меня тошнит. Даже с закрытыми глазами. Это не та тошнота, которая мучительно выворачивает наизнанку, извергается вон и сменяется очищенным облегчением. Это оцепенелая ледяная тоска, пронизывающая весь организм как отрава, парализующая желания: вместо крови трупная жидкость, вместо нервов сгнившие клетки, тоска проступает

сквозь кожу холодным потом, и так настигает тебя первая кара дня: ты проснулся. Здравствуй, жизнь, здравствуй, лютый зверь, здравствуй, палач неуязвимый. С добрым утром, суки, вы еще не сдохли?

Теперь надо поправить здоровье. Несчастливая черта русского характера: выжрать все, что есть, ничего не оставив на опохмел. И никаких уроков из собственного горького опыта; это наша национальная черта, она сказывается во всем, но мучительное утро есть родоначало всех наших бед. Дожить до заката. В поте членов твоих, в позоре лица твоего. О, если бы я был немец! У меня всегда бы оставалось на утро сто грамм, или фунфырик, или хоть полфлакошки цветочного или лосьона; да что я говорю — у немца оставался бы баллон пива и полпачки сигарет.

Мы ненавидим кавказцев из бессильной зависти. Будь я азер, или грузин, или лучше всего армянин, они самые древние и культурные — как счастлив был бы я по утрам! Хаш! Я ел бы горячий, жирный, острый, с чесноком и травами хаш! И несколько рюмок холодной чистейшей водки!.. Да, эти люди умеют жить, и есть чему у них учиться. Если утром съесть хаш и выпить двести грамм — горы можно свернуть, жизнь в радость, ты уверен в себе, ты всему хозяин!

Я знаю, о чем говорю. Я ел хаш, едал, были когда-то и мы рысаками. Два раза. Тогда, когда... Словом, как говорил Атос, когда у меня был собственный замок.

Чу! Какое к черту «чу» в корчах головокружения, это все изыски эстетов. Ишь ты, я еще помню слово «эстет», не все потеряно. Это прогазовал на холостом синий «форд-фокус» у четвертого подъезда. Значит, без четверти девять. Пора вставать.

Подъем

Почему же все так трудно. Почему же все так сложно в жизни. Я хочу пить, внутри уже все горит. И я хочу покоя, шевелиться невыносимо. Если бы можно было протянуть руку и взять — не стакан, литровую банку воды — как прекрасна была бы жизнь. Но что бы ты ни захотел — сначала самому надо это сделать, вот в чем проклятье людское. Нет мне воды под рукой. Откуда ей взяться, если я не помню, как сам-то обрубился.

Я сползаю со своего ложа — двух водяных труб в толстой изоляции поролона, обернутого рубероидом. Они теплые и мягкие. Главное — чтоб тебя тут не засекли и не навесили замки на все дыры. Да кто ж весь коллектор перекроет.

Отхожу подальше, там есть ниша такая, и справляю утренний туалет. Когда я не забуду принести сюда какой-нибудь совок или лопатку, я буду все регулярно присыпать, и тогда получится биотуалет. Нельзя же гадить там, где спишь. А где устраиваться? Город — это

тебе не сад. Как представишь утром миллион одновременно гадающих — словно в гигантском сортире живешь. Идут себе все такие чистенькие, красивенькие, словно и не корячились только что, а город плывет на подземных реках их вони. Утром вообще жизнь чувствуешь через отвращение.

Еще, я вам скажу, стало плохо с газетами. В смысле очень мало выкидывают. Не читают. Интернет читают, сволочи. Компьютером не подотрешься. Туалетную бумагу я не имею в виду, платную. Когда-то, я помню, все покупки заворачивали в какую-никакую бумагу. А сейчас в пластиковые пакеты. Они скользкие. Так что я срываю всякие наклеенные объявления. Бумага всегда пригодится.

А вот теперь надо идти в другую сторону, два поворота направо, пять шагов — жестяная будочка. Дверца на поворотной задвижке. За ней — кран. Под краном — большая жестянка из-под горошка... Св-волочи! Сперли банку. Я осторожно приоткрываю кран и пью чистую, холодную, отдающую металлом воду. Перевожу дух и пью еще. Потом мою лицо, шею и руки. Пальцем протираю зубы (оставшиеся зубы, трогаю пальцем дупла, слева внизу два шатаются, но держатся пока). Умывание бодрит. Опустись — сдохнешь. И все равно сдохнешь, если не опохмелишься. А не сдохнешь — так еще хуже.

Бурение огненной воды

Просто так тебе выпить никто не даст. Легенды о верной дружбе придумали в кино. Когда деньги лишние — что ж друга не угостить. Но денег здесь нет в принципе. Мы находимся на передовом крае обнищания населения. Что интересно — ребята погибают постоянно, а передовой край не пустеет. Не то народ к этой черте подтягивается, не то черта к народу. Короче — бухло и родина едины.

На улице просить бессмысленно. Все торопятся на работу, и вид праздного алкаша только раздражает. Алкаш — алкает. Или алчет.

У магазина кучкуются такие же, как ты сам, там уже наверняка и Полковник, и Самурай, и Удав; а для покупателей еще рано.

В долг... В долг таким, как мы, дает только Господь Бог — дней на земле. И то ненадолго.

Сеть у стены или в переходе — это для самоубийц. Разве что минут на десять — собрал что подали и деру. А может, к тебе не через полчаса, а через минуту подвоят — случаи бывали. Дежурные ездят, следят. Отобьют потроха, сломают кости — а здоровья лечиться уже нету, это только подохнуть останется. Город поделен на участки, нищие — на специальности, и цыганская мафия утром развозит их по местам, а вечером собирает в свои общаги. Все деньги сдать, стакан нальют, пожрать — и на тюфяк. Утаишь — убьют, никто не хватится. Менты крышуют. «На операцию матери», «безногие десантники» — все их

организация. Старушка-богомолница юродивая — и та или отстегивает, или исчезает навсегда.

Честно подкалымить невозможно. Ни в какой магазин на разгрузку-погрузку хоть чего, хоть тары, нас не берут. Вид, запах и невладение собой при возможности спереть и пропить все равно что... Там свой контингент.

Когда-то был честный бизнес — собирать бутылки. Даже участки были свои. Пяток сдал — одеколон твой. В наше время и бутылка не найдешь, и сто́ят копейки, и сдавать замучишься искать куда, и ларьки-то с «Тройным» и «Огуречным» исчезли, как корова языком слизнула. Вот тоже удивительно: народ спивается — а где он спивается? Как узнать места, где он конкретно спивается, и очищать там город — уносить стеклотару?

Процесс вымирания народа незаметен до полной непонятности. Словно их среди бела дня аисты уносят и прячут в капусте навсегда.

Когда я... словом, когда у меня был свой замок, я завел референта по культуре. Она мне пересказывала человеческим языком знаменитые книги. Какая отличная была у нее задница! Там была книга, где люди постепенно превращались в фашистских зверей: не то волков, не то бегемотов, а сами себя полагали нормальными. Она объясняла, что все мы постепенно в кого-то превращаемся... «Чивас Ригал»! Мы пили восемнадцатилетний «Чивас Ригал»! В любое время, хоть полный стакан, а со льдом — эликсир счастья! Есть, есть на свете счастье, просто оно всегда не с тобой.

А потом на диване превращалась в мартовскую кошку. Образованные дамы вообще дают дрозда круче тундры. Культура, она говорила, возбуждает все чувства и... о господи, не может жить человек с такой помойкой во рту!.. и развивает воображение. Это я к тому, что мы постепенно превращаемся в таджиков и чеченцев. Никто не видит, как они приезжают и устраиваются на работу. Просто они вдруг раз — и есть. А наши вдруг раз — и нет. А только что были. Эволюция. Народ меняет внешность, религию и привычки.

Если бы я стал чеченцем, уж то-то вы у меня хвосты бы поджали. Да если б я стал таджиком, и то изменился бы меньше, чем оставшись русским.

Закрома родины

Помойка — колыбель человечества и могила его собственности. Как любая могила, она дает пищу новой жизни. Вот и мои мусорные баки.

Все уже разошлись на работу, скинув по пути свои пакеты и свертки. В этот свободный час сюда никто не заходит. Полные баки увозят ночью, с утра здесь все свежее. Работа в этой загородке рифленого железа — куда чище, чем в морге или прачечной, про ассенизаторов я вообще не говорю; хотя они до фига зарабатывают.

Не помню, в каком кино это было: «Джентльмен не должен быть брезгливым».

А может, звучало не так: «Джентльмена ничто не может унижить». Ну, кто помнит, как в девяностом году джентльмены рылись в урнах, вытаскивая бычки подлиннее, и гнали дома самогон из томатной пасты, тот нас поймет.

Ворона взлетает на дерево и оттуда недовольно мне каркает. Левый хук в голову, то бишь засветить в правый глаз, у меня еще не вовсе пропал, так что мое право на эту экономическую зону партнеры уважают. Я задвигаю за собой рифленую аппарель и сортирую содержимое своей доли от недр и прочих богатств страны.

Весь улов делится на три части: для еды, для личного пользования и на продажу. Из продуктов оказывается, как чаще всего, несколько кусков подчерстневшего хлеба, тронутый налетом плесени обрезок сыра, вполне неплохой еще помидор, половина вялой луковицы, слегка надгнившее яблоко, суповая кость с хрящами и невысосанным мозгом, почти целая пачка чуть-чуть подкисшего творога и немного слипшегося в корку сахара на дне пачки. Не свистите про кризис, до голода стране еще далеко. Вот и мне на день хватит.

Одна из неумных и подлых людских привычек — выбрасывать окурки вместе с влажными объедками, после чего эту табачную кашу курить уже невозможно. А сушить — где их сушить?.. Но десяток длинных и сухих бычков находится. А вообще курево надо собирать в урнах на автобусных остановках — поздно вечером, а то утром дворники их опорожняют.

Из полезного я несколько раз находил ножи, их или терял, или менял на выпивку. Ложки, вилки, шербатые чашки, рваные скатерки. Держать негде. Только то, что с собой в сумке.

А вот одежда — все одеты с помоек. Кепки, куртки, джинсы, рубашки, любая обувь, футболки, трусы — все есть. Простирнуть, починить — и одет будто из магазина.

Сегодня случай мне выделил две как новые, целые и стиранные сорочки. Кому-то, значит, надоели, или из моды вышли по его мнению. Я завернул их в пакет почище и пошел к Барсуку. Резво пошел, как верблюдов на водопой, чем ближе к цели — тем быстрее.

Бартер

Денег Барсук никогда не платит. Он истинный бизнесмен. Когда бухло у тебя перед носом — отдашь что угодно.

— Сэконд-хэнд на Пушкинской закрылся — куда я их теперь дену? — начал он калячить, ломать комедию.

— Слушай, почему всем барыгам не дать одно погоняло — Паук? — спросил я.

— Придумай чего поновей, это ты меня каждый раз спрашиваешь.

— А ты каждый раз не отвечаешь.

— Смотри сюда — видишь: манжета протерта?

— Совесть у тебя протерта. Какая манжета?! Нинуля же на рынке от тебя торгует, эти рубашечки по стошке улетят быстрее голубей!

Он сидит в кресле, гадина, в подвале своем дворницком, и барахло вокруг навалено горами вдоль стен. Говорят, в районе ремзавода у него четырехкомнатная квартира и любовница из стриптиз-клуба. А кресло старинное, высокая спинка мореного дуба резного, и кожа свиная потертая бронзовыми гвоздиками окантована. Отреставрировать это кресло — цены ему не будет. Из-за этой шикарной норы его Барсуком и прозвали.

— Трубы горят? — глумится он.

А ведь один удар ребром ладони по горлу — и покойник. Да ведь найдут, вот в чем беда. Вру, не найдут, на хрен он ментам сдался, прижучат первого же попавшегося бомжару, и дело с концом. А кому потом товар сдавать будешь?..

— До тридцати семи лет я вообще не знал, что такое головная боль, хоть с похмелья, хоть на ринге, — душевно жалуясь я, строя отношения.

Барсук запускает руку в ларь, заменяющий ему письменный стол, и достает голубоватый пластиковый флакон 0,7 «Нелр» — стекломоя. Цена его полтинник, и от него два месяца назад загнулся Узеня.

— Вот спасибо, — говорю я. Это изопропилен, технический спирт, сто грамм — а следующую сотку уже пьешь нектара в райских кущах. — И дуста на закуску, да?

— Че рыло-то воротишь, — бурчит он. — Люди берут, не жалуются.

— А ты часто слышал, чтоб покойники жаловались?

— Так а че те надо? — кривится он, но убирает свой яд и ставит на ларь розовый лосьон. Экономный парень. Девяносто пять грамм — по сорок пять рублей за флакон, если место знать.

Я забираю флакон и обратно одну рубашку.

— Куда потащил?

— Один флакон — одна рубашка. Два флакона — две рубашки.

— Нет у меня больше розового! Зайди завтра — отдам.

— Ты — отдашь?! Рубашечка, кстати, — чистый хлопок, смотри.

— Ну нету, честно говорю.

— Давай чего есть!

Барсук правильно прикидывает силы и расклад и добавляет флакон «Ландыша» — восемьдесят пять грамм, цена та же, кпд тот же: семидесятиградусный нормальный спирт. В аптеке это все в полтора раза дороже. Если есть. Если пустят. Если дадут...

Жизнь прекрасна

Время к двенадцати. Солнышко вышло и греет. Бабье лето, тепло. Стена нагрелась, и сидеть, прислонившись спиной к теплым кир-

пичам, приятно. Кусты закрывают до окон первого этажа, листья еще не все облетели, и я здесь отдыхаю в собственном саду. Недалеко воробьи чирикают, на детской площадке мелкие галдят, из форточки вверху справа борщом тянет. Мысленно я ставлю Богу свечку: вот и еще день жизни. Когда быть лучше, чем не быть — чего еще надо?

Я выпил половину розового, закусил помидором, сплюнув гниль, и засмолил сигареткой — на две трети целой. Допил, закусил сырком и еще полсигаретки выкурил. После этого надо посидеть немного — чтоб приход был весь. Дышать неглубоко, чтоб не вентилировать зря легкие, не улетучивать кайф, он только завязывается. Глаза оказались прикрыты, и под веками светлосерые и темные пятна сливаются в муаровый узор, расцвеченный прихотливым желто-красным крапом. Эти текучие переливы теней неуловимым образом передают картины детского покоя, уюта, любви и надежд юности, и саму атмосферу юношеской свежести: и бесконечные расширяющиеся коридоры будущих твоих жизней, и увлекающий зов радости и победы на всех путях, и лица мамы и папы становятся их головами, теплая родная рука обнимает тебя, и ничего уже больше не нужно.

Вот здесь необходимо сделать усилие над собой и открыть глаза, иначе могут появиться слезы и очнешься в черной депрессии. А в награду за силу воли и ощутишь солнышко бабьего лета, и тепло стены, и птичье цвирка-

ные, и радость в теле и сознании. Вот я теперь и наслаждаюсь.

Флакон лосьона равен по содержанию спирта и общему эффекту нормальному стакану водки — это мы давно высчитали. Теперь я грамотно распределяю «Ландыш» на три глотка по двадцать пять-тридцать граммов — на три небольшие культурные такие рюмочки. В паузах между рюмочками надо пожевать немного хлебушка, сделать несколько затяжек и подумать о чем-нибудь легком и приятном. Вспомнить хорошее старое кино, или вообразить себе с завтрашнего дня новую жизнь настоящего крутого мачо, поднимающегося с любого дна и выходящего из любых ситуаций; или вспомнить кого-нибудь из своих баб и рисовать себе (с чудесными подробностями, дополняя действительность до идеала), как замечательно вы трахались, и не расстались, она любила тебя, ты ее, дети выросли здоровыми и удачливыми, дом благополучен, и друзья завидуют вам. А завтра — ведь вполне возможно — рядом с тобой проносится погоня одной машины за другой, стрельба, все трупы, рядом лежит кейс, и ты хватаешь и скрываешься с этим кейсом, а там — шесть шнуровок баксов, шесть вакуумных запрессовок в полиэтилен — по десять пачек стольников пакет, по сто листов пачка: шестьсот штук. И ты суешь кейс в грязный пакет с помойки и прячешь в своей норе поглубже, один стольник меняешь в дальнем обменнике, чтоб знакомые здесь не засекли, покупаешь на базаре скромную, но

пристойную одежду, идешь в баню, в парикмахерскую, к стоматологу, покупаешь квартиру — нет, сначала надо восстановить документы, но это дело наживное, особенно если в лапу сунуть...

...А вы говорите — алкоголизм. Ты сел под стену мешком дерьма — и через час встал человеком, который все может, и окончательно ничего не потеряно, и все тебе по силам. В меру выпивший человек — это и есть хозяин жизни и царь природы!

Прогулка

Если честно — никогда я не любил работать. Я любил свободу. Что же здесь плохого. Труд — это принуждение. И какая разница, принуждает тебя государство, семья или Господь Бог. Ненавижу любое принуждение. Сами придумали — сами работайте. Кони тупые.

Память — странная штука. То помнишь все, а то ничего. Утром помнишь одно, а вечером другое. Вдруг — р-раз! — будто все прожектора направлены в одну точку, и тогда ярчайше высвечивается какой-то забытый случай в мельчайших деталях. И серый колпак — хоп на голову! — и вообще ничего не помнишь, хорошо бы только сдохнуть тихо и завязать со всей этой бодягой.

Я иногда не помню, как называется город, в котором я живу. И как я сюда попал. Чест-

ное слово. А потом думаю: какая на хрен разница. И перестаю вспоминать. А потом оно само восстанавливается. Но не навсегда.

А другое рад забыть, так застряло и не уходит.

Рука воспитательницы! Голос учительницы! Очки директора! Дневник! Отдел кадров! Аусвайс, виселица, крематорий, фашисты!

Я ненавидел ходить в детский сад. Утром, зимой, в темноте. Ненавидел школу. По звонку, вместе, встать-сесть, всем на перемену, подними руку. Ненавидел страх остаться без работы: страх перед крушением бизнеса, страх перед безденежьем и нищетой.

Ненавидел страх перед тем, что жена мне изменит или вообще меня бросит. Страх перед болезнью детей. Ужас перед смертью матери. Кошмар перед собственной смертью меня изводил до судорог, но им я переболел лет в восемь, собственная смерть перестала быть чем-то личным, а так — деталь анкеты.

Я читал сказки про бродячих рыцарей — идеальные люди вели идеальную жизнь. Я представлял себе утро бродячего рыцаря: встаешь когда хочешь, делаешь что хочешь и едешь куда хочешь. Убил дракона. А мог бы не убивать, мог объехать мимо. Захотел — убил, захотел — к черту послал. Женился на принцессе. А мог бы вообще не жениться. Захотел — женился. Захотел — стал отшельником или уплыл за море.

И вот я пованиваю, возможно, но никого не заставляю себя нюхать. Питаюсь скромно,

но ради куска хлеба потеть не стану и уж тем более подлости и злодейства не совершу. Живу без лишнего комфорта, но и в рабство себя на десять лет ради собственной собачьей конуры не продаю.

Уроды вы все тупые. Я-то и есть тот самый идеальный свободный человек, о котором «тысячелетия мечтали лучшие умы человечества», или как там было в учебнике. Подотритесь вашим учебником — и марш обратно на плантацию. Трудитесь, грязные негры, солнце еще высоко!

А пока вы вкалываете и трясетесь перед завтрашним днем, пока из кожи вон лезете, чтоб не потерять достигнутого или достичь большего — свободный человек выходит на прогулку. Джентльмен и денди выходит на прогулку. Выше, чем джентльмен и денди — аристократ духа выходит на прогулку, и ничто не может лишить его статуса и привилегий.

Я тихо гуляю по солнечной стороне улицы Ленина. Проносящиеся машины развлекают меня, они придают пространству энергетику и темп. Они красивые и со всего мира. Больше всего тойот и ниссанов, но ауди и БМВ тоже много. Мерсы почти все черные, а джипы преимущественно мокрый асфальт или серый металлик. Маленькие дамские пежо и рено часто яркие — зеленые, красные, даже желтые. Не знаю, почему синих машин практически нет. Жигулей почти не осталось, и эта квадратненькая коробочка из другой эпохи каждый раз, как толчок сердца, гонит по жилам

тихое презрение к родине: где все, а где туземцы мы.

Прогулка по улице не сравнится ни с каким клубом. У мужчин я смотрю на лица и плечи. Большая часть — полный отстой. Озабоченные, слабые, сломанные. Хмурые — а не бойцы. Готовы к злости — а всерьез не опасны. Продукт подчинения. Боже мой, как тяжело, горестно как принадлежать к быдлу. Ведь я сам такой же, просто стою вне толпы.

Красивый мужик редок. Твердое лицо, костистый подбородок, широкие плечи, движения с запасом. Такие редко движутся по тротуару. Иногда выходят из хороших тачек. От них излучается уверенность и превосходство — неброско так, сдержанно.

Самые красивые мужчины — азербайджанцы. Мы с ребятами интересовались — те же турки, только горские. А турки веками крали лучших баб и увозили в янычары лучших мальчиков. Вот и вывели породу. Селекция. Я, конечно, жирных торговцев в виду не имею. Слащавые и трусливые хачики нас не интересуют. Но часто даже бомбила на «копейке», цветочник какой-нибудь: лицо точеное, медальный профиль, квадратный подбородок, резкие морщины воина, широкие прямые плечи.

Красивый славянин, похожий на викинга с картинки, крайне редок. Не то перевелись, не то съехали, не то и не было никогда: затерялась Русь в мордве и чуди, как писал поэт.

А у женщин гораздо больше есть на что смотреть. Лицо, грудь, талия, попка, бедра,

ноги. Мужчина — это организм для делания дел и получения денег. А женщина — это человек, имеющий ценность сам по себе. Господи, сколько же у нас красивых женщин! Почему, каким образом в стране уродов столько красивых женщин? И лица-то у них добрые почти всегда... Почему обрекли их жить с этими чмошниками тестомозглыми, в чем здесь смысл...

Вот у этой такие волосы белокурые, пепельные, чуть выющиеся, что остальное уже лишнее. Ох, вот это ноги прошли — точеные колонны от самых ушей, лица сзади мне не видно, да и незачем. А вот это бюст! вот это сиськи! вот это гордость женская! и как же ловко эти дыни в плащ-то упакованы! У мужиков глаза должны просто пеленой заволакиваться. А попки хороши каждая третья, от силы четвертая; я считал. Есть плоские, есть треугольные, если сползающие под колени, все, конечно, есть. Но каждая четвертая — просто произведение искусства, музей скульптуры по ним плачет. Ах грива рыжая подвитая по ветру летит! Глаза, господи милый, какие глаза-та бывают, блестящие, с раскосинкой, зеленоватые, прозрачные, а внутри грустинка дрожит, умереть на месте за эту грустинку, и на миг удалось взглядами с ней встретиться, я этого взгляда долго не забуду...

А обувь какая красивая в витрине. А бутылки какие разные, красивые, этикетки — высокая живопись, и все ведь есть. И я могу остановиться и рассматривать эти бутылки сколько

угодно, надписи читать, градусы, представлять себе вкус, и что чем лучше закусывать.

Пассажиры лезут в подошедший автобус, на скамейке остается книжка, и маленький хроменький бомж ловко вдвигается под навес остановки и сует книжку себе в карман.

— Здорово, Белинский!

Белинский

— Чего разорался, — недовольно сипит он. Сипит-то он сипит, но как выпьет и разойдет-ся — такие речи произносит, не то соловей, не то соловей-разбойник. И все на литературу сворачивает. Он и был учителем литературы. Пока его один родитель в ухо не наладил — за двоечника. Не то колотуха у родителя была поставлена, не то уши у наших литераторов слабые и не слышат они предупреждений судьбы. Родитель его год предупреждал. А после въехал. И половина мозга у Белинского вылетела из противоположного уха. Теперь он с нами. Для нашей жизни любой половины мозга вполне достаточно.

— А угадай-ка, что это: в одно ухо влетает, в другое вылетает?

Намек его злит: всплакнет или укусит.

— Лом!.. — наставительно говорю я, он не выдерживает и хохочет вместе со мной, брызгая сквозь редкие коричневые зубы. Диковатое это зрелище — хохочущие середь людей бом-

жи. Энергия у нас не та, разве что на жиденькое гыгыканье хватает. Смех требует молодости, здоровья; и благополучия. Смех — это показатель общего счастья человека, а вернее даже — его жизненной перспективы.

Я заметил уже года как два или сколько-то там: вообще я отупел в порядке, и думаю о чем-то редко. Чаше или тошно, или заботы решить: выпить надо, голод как-то утолить, согреться в холод, от дождя вовремя в нору залезть или потом сушиться. Шмотки, опять же, нормальные иметь. И на глаза особо не лезть — в дезах злые суки грозят, дворники палкой метлы по голове целят, суки, матерят что мы везде ссым и срем и помойки из баков раскидываем. И жильцы случаются садисты, в лютый мороз из подъезда гонят несчастного, которому зайти некуда оказалось, наших сколько зимой мерзнет. А уснул днем на скамеечке, куда мент по дурости зашел — возьмет да оттянет дубинкой по почкам. А почки и так еле фурычут, отбить их нечего делать, и умирают потом ребята.

А вот когда выпил в меру, и живот насытил, и не болит ничего, и погода хорошая, теплая, и заботы не грызут, — тогда счастье. И размышляешь о жизни. Неожиданно всплывают в голове знания, когда-то туда попавшие.

— В Грецию надо перебираться, — втолковывает мне Белинский (он беспрерывно болтает свое), ведя узкими дворами вдоль заборов в свой сарай. Забытая сараюшка, не снесли почему-то. Со скрипом отходит снизу край

доски вместе с гвоздем, и мы лезем сквозь щель в его «библиотеку». Он сюда сволок деревянные поддоны от супермаркета, и пластмассовые ящики (тару от бутылок) составил на них рядами — боком, типа стеллажей. Ящики громоздились салатные и голубые. И там у него книги. Много, разные, некоторые совсем как новые. Сейчас много книг выбрасывают. Особенно если кто умер, их среди старья и ремонтных обломков прямо в эти мусорные контейнеры, такие вроде кузовов для самосвалов, прямо по рукавам из окон сыпают. А иногда оставляют аккуратно рядом с подъездами. Старушки у рынка их по десять-двадцать рублей продают.

Подобранную на остановке «Мечь вора» Евгения Сухова Белинский аккуратно поставил рядом с Чингизом Абдуллаевым. Русские боевики, значит.

Он рехнутый, Белинский, книг от жизни не отличает. Говорит нормально, и вдруг — раз! — несет ересь нездешнюю, и смотрит при этом чистыми глазами. Чистая шизофрения. Замели бы в дурку, да там своих девать некуда. В дурке быстро превращают всех в овощей, и они гниют на койках в своих лужах, дожидаясь близкого кладбища.

— Карательная психиатрия! — неожиданно выскакивает из меня, и мы с Белинским удивленно смотрим друг на друга.

— Греция — родина Диогена, — недовольно продолжает прерванный Белинский. — Теплый климат и плодородная почва позволяют

человеку пускать больше энергии на умственные процессы. Обилие пищи снижает уровень агрессии, люди там толерантнее. Греки чтят своих предков, и если мы поселимся в бочках, к нам будут хорошо относиться. Не говоря уже о том, что гений русской литературы Антон Павлович Чехов написал, что в Греции все есть. А он был очень реалистичен в деталях!

— А он не написал, как туда проехать?

— Нет. Он учил географию по учебнику. А ты?

— Что — я?

— Ты — учил географию по учебнику? В школе? Не отвечай — я угадаю! Если нет — или ты болел, или тебя украли цыгане и заставили просить милостыню. Как мало мы знаем друг о друге!.. — сокрушенно поник Белинский.

— Однажды я уже это слышал от фээсбэшника, — сказал я.

Белинский снял с полки, в смысле вытащил из ящика «Атлас мира» и раскрыл политическую карту Европы.

— Через Киев в Кишинев... — вел он ногтем, — Бухарест, София. А дальше — Греция.

— Через Киев нельзя, — предупредил я. — Там сейчас фашистская хунта.

— Когда?! — подпрыгнул Белинский. — Какая?!

— Ты что, дурак? Которая совершила кровавый переворот.

— Ужас какой... — прошептал он. — Тогда... мы пойдем через Полтаву и Черкассы.

В Полтаве жил Гоголь, там нет фашистской хунты.

— Есть, — сказал я.

— Откуда?

— Из Киева.

— А... зачем она там?..

— Чтобы совершить кровавый переворот, — предположил я.

— Тогда... через Харьков и Львов.

— Там тоже хунта.

— Я не понимаю. Она что, везде? И давно? Сколько уже?

— Сколько надо, столько и хунта.

— А... у нас?.. — со страхом спросил Берлинский.

— При чем тут мы? У нас, слава Богу, демократия.

— Ф-фух... — облегченно выдохнул он. — А то я уже испугался.

Отцы и дети

И тогда я делаю ошибку. Я иду погулять в наш парк. В нем желтые листья, и почти нет в начале дня людей, и танк Т-34 на постаменте. Звездочка алеет на башне. А на другой маленькой полянке, или внутреннем скверике, как сказать, куда звездой сходятся несколько аллеек, стоит гипсовый лев. Или алебастровый. Белый. Сероватый от погоды, облупившийся, конечно. К этому танку и этому льву

меня водили гулять еще ребенком, только ходить начал.

Теперь я часто думаю об этой символике. Страна готовила меня к боям и победам. Воспитывала из меня солдата и повелителя. И где та страна с ее гордыми идеями? В глубокой заднице. А на самом дне этой задницы — я, верный сын своей родины. Повелитель помойки семнадцатого дома.

Я выбираю удобное место на траве, чтоб светило солнце и был виден лев. Он скалит клыки, а морда у него старая и удивительно добрая. Лежу, удобно опираясь плечами и головой на мою сумку, пристроенную к березе.

От этого льва начался мой жизненный путь. Совершил огромный, почти полувековой круг и замкнулся. Но это только кажется, что замкнулся. Когда у тебя ничего не болит, и тебе не мокро и не холодно, и ты сыт, и ничего не боишься — ты понимаешь, что еще не поздно. И силы, оказывается, еще есть. И — самое главное и удивительное! — желание есть, воля есть! Я еще поднимусь, ребята. Прорвемся. Я умею. И знаю как. И не из такого поднимались.

Злая и трезвая точка в мозгу, как мент с дубинкой среди поющей толпы, беззвучно предрекает тщету всех надежд: не в первый раз. Но злой и трезвый внутренний мент едва уравнивает чашу весов — а на другой чаше как раз поющая толпа. И малейшее усилие сдвинет мечту к движению в реальность. Все зависит от тебя самого, вот в чем дело.

Э, доводилось мне делать вещи и покруче.

...В голову попала разрывная пуля, голова взрывается! Рука оторвалась! От следующего удара я прихожу в себя. Проснулся. Меня пинают, быстро, зло! Хотя несильно. В ухо больше не попадают.

Это мелкие. Беспризорники. Промышляют. Я их добыча. Все случилось из-за сумки. Ее рвут с ляжки, перекинутой через шею подмышкой.

Черная лакированная туфля с острым твердым носком бьет особенно больно. Пацанов человек шесть, на вид еще дети, и жалости они не знают. Зверенышам убить — азартная игра. Я прикрываю лицо руками, подтягивая колени к животу.

Сумка. Я заснул с сумкой. Клетчатая кленка, как у челноков, но поменьше. У каждого вольного человека есть сумка. В ней хранится его собственность, необходимая для жизни. Куртка на поролоне, болоньевый плащ или кусок пластиковой пленки — от дождя и на подстилку, шерстяная шапочка. Еда в пакетике, ложка, нож. Пара пластиковых стаканчиков, кружки сейчас не достать. Может быть еще годный будильничек, какая-нибудь красивая безделушка на обмен. Может быть рубашка, свитер, носки-трусы практически целые.

Вот на сумки они и охотятся. Они растут, им есть надо...

Как бы не убили! Могут плеснуть бензином и поджечь. Могут полоснуть лезвием. Могут

камнем по голове. Надо встать!!! Убью одного — остальные убегут.

Отдать сумку? Поздно. Они завелись все-ррез. Мое счастье, что слабенкие и хилые. Дети подвалов, наркоманы. Их рваные кроссовки и боли не причиняют, только один в больших берцах бухает с размаху в ребра, как таран. А вот черная остроносая туфля так и гвоздит!

Я перехватил тонкую шиколотку выше туфли и сильно дернул. Пацан упал, я мигом дотянулся схватить его за яйца и вывернул с силой. Он взвыл и скорчился.

Двумя руками держась за березу, я сумел подняться на ноги, пряча лицо от растопыренных пальцев, которые норовили ткнуть мне в глаза. Тут ляжка сумки моей наконец лопнула от рывков, и грабители мои и убийцы бежали с ней и скрылись меж деревьев.

Вот гадство. Я остался без вещей.

Поверженный враг скорчился на боку, держась за свой детский размножительный аппарат. Надо было или свернуть ему шею для спокойствия, или как-то помочь. Они злопамятные, малолетки. Замурзанный, тощий, из зажмуренных глаз слезы. А рожа исцарапана, губы сжаты. Злой мальчишка.

Курево я держал в кармане, в пачке из-под «Бонда». Не помялось. И зажигалка осталась на месте.

— Куришь, крутой бандит? — спросил я, пуская дым.

— Убью, — глухо пообещал он с земли.

Через пять минут мы сидели рядом и курили по второй.

— Зачем же вы у своего, у старика отбираете? — говорил я. — Крутые — так бомбите воздушных челов (богатых людей). Взял приемник из тачки — и живи сытно.

— А чего тебе зря пропадать? — равнодушно сказал он. — Риска нет, а навар какой-никакой. Хоть покурить, может из барахла чего найдется.

— Ты уже убивал кого-нибудь? — спросил я.

Он пожал плечами. Нормальный подросток, мальчик даже, скорее. Джинсики не такие грязные, курточка нормальная, а туфли лаковые острия тянут на мужской размер. Видно, все лучшее в шайке себе отбирает. А личико — специфическое: припухлое, под смуглостью бледность землистая просвечивает, карие глаза злые и твердые. Санитар городских джунглей, не то крысеныш, не то волчонок.

— Из-за вас все зло, из-за паразитов, — сказал он.

— От меня тебе зло? — изумился я.

— От таких, как ты. Которые бросают своих беременных баб, а бабы потом идут на панель. Вас вообще всех кастрировать — и в колонию, работать, пока не слохнете.

— Это тебя мать научила?

— Жизнь научила. Страну прогадили, совесть прогадили, а сами не слохи.

Развитой ребенок. Опоздал комсоргом родиться.

— Что ты в жизни видел. А ты учиться не пробовал?

— Пробовал. В интернате. Хрен я туда вернусь. Лучше сдохну.

— Да вы все быстродохнете. Дурью дырки набьете — идохнете.

— Тебе еще в рот не ссали, — сказал мальчик наставительно. — Тебя еще на хор не ставили. Кому ты нужен, огрызок, ты вообще жизни не видел.

— Поживи с мое, микроб, узнаешь.

— Наши столько не живут. Это вы, плесень, воняете — а за жизнь цепляетесь.

Потом мы пообещали убить друг друга при первой встрече, а потом — глядь! — по аллейке ЛГБТ наш шаркает, Петюня. Увидел нас и улыбается.

Цветы жизни

А улыбка у него, у пидораса, добрая и открытая. Отцовская такая, дружеская. Просто ходячая забота о ближнем.

— Чего ты мальчишку скуриваешь, — укорил он. — Хоть покормил бы чем.

— Они уже мной покормились. Всю сумку скоммуниздили.

— А чего ты пришел в их парк со своей сумкой? Да еще заснул, небось. Вон от тебя дух какой парфюмерный. Сам виноват, нельзя детишек в искушение вводить. Им знаешь как кушать хочется, не то что нам...

Петюня сел рядом, с другого бока пацана, и достал два мятных пряника в прозрачном пакетике:

— Угощайся, брателла. Этот зверь вообще к малолеткам жестокий, я его давно знаю.

Когда-нибудь я его, педофила поганого, убью. Вот будет настроение особенно поганое, и я его убью. Трудность в том, что вообще по жизни он кент нормальный. Подлянок не кидает. Просто крыша со сдвигом. Как мальчика увидит — так у него встает. И тут он уже собой не владеет, готов на любые жертвы и унижения.

— Легабот, — поддразниваю я, — пойдем на ферму посмотрим, как там сегодня боровков холостят?

Он даже лопатками передернул. Глянул как змея, чуть не зашипел. Да ладно, какое мое дело. Я ему подмигнул. А вообще его, конечно, стерилизовать надо. Не уколом, а реально. Чтоб писал из дырочки в ровном месте.

— У скопцов в секте, кстати, хорошо кормят, — ну не могу я удержаться. — Правда, там работать заставляют. И молиться.

Тут глаза у него белеют, и я понимаю, что он меня первый убить может.

— Погубит тебя твоя доброта, — говорю. — Нельзя же вечно лучшую хавку шакалятам раздавать.

А он тащит еще пакетик: там булочка с кремом маленькая. Подсохшая, но почти мягкая. И дальше пацану скармливает.

— А взрослый уже малец, — льстит примитивно. — Девочек уже, пооди, дерет! Тебя как звать, любарь-террорист?

— Андрей, — с достоинством представляется пацан.

— Стоит уже по утрянке-то, Андрей?

После крошечной паузы пацан солидно кивает и пожимает плечами: как же иначе-то, само собой, и даже излишне стоит, непрощенно. С этого бродяжья и недокорма нищего что там у него может стоять, у несчастного.

— Может, Алиску ему привести... — думает вслух Петюня. — Она всегда готова, любит это дело, а сама молодая, старые мы для нее. Да уж и смотрят у нас всех на полшестого с этой жизни, ведь отраву все пьют страшную, от нее даже фонарный столб не встанет, сами-то еле живы.

Пацан, Андрей то есть, улыбается неуверенно.

-- Слышь, Пирамида, — обращается ко мне Петюня самым естественным тоном, — сходи приведи Алиску, ты ж знаешь те скамейки за летней эстрадой, где она тусуется. А мы пока покурим, точно, Андрюша?

И эта гадина достает маленький прозрачный пакетик с табаком: никакой это не табак, это смесь табака, реальной анаши и спайса; я его приколы знаю. Сворачивает аккуратную, приятно смотреть, самокрутку и предупредительно мальчишке дает из рук зализать склейку, чтоб тот не побрезговал потом, неровен час. А ведь видеть должен пацан, что там та-

кое, не мог запах не почуять, наверняка спайсы пробовал. Но еще не въехал, что сейчас курить это ему не надо.

Петюня делает вид, что затягивается, и передает Андрею. Процесс пошел.

— Трава? — спрашивает жертва.

— Ну, отличная! — подхватывает Петюня.

— В нос как спайсом отдает.

— Чистая индийская, сынок, без примесей, не разбодяженная.

Через минуту зрачки пацана расширяются, по лицу бродит тревожная улыбка. Паук растворил мозг своей жертвы.

— Опасно здесь на открытом месте! — громко и убежденно говорит Петюня. — Менты с собаками ходят, облава! Спрятаться надо, идем быстро! Успеть надо!

Уводит пацана за куст:

— Ложись!

Тот под гипнозом, озирается невидящим лицом.

— Тебя ищут! — пугает Петюня. — Одеждой поменяться надо, в моей тебя не узнают!

Он еще велит мальчику затянуться, спускает с него джинсы и укладывает на живот. В торбочке у него всегда есть и тюбик вазелина, выдавливает прозрачную гусеницу на корявый указательный палец и смазывает свой коричневый банан, нечеловеческий какой-то, животный. Остаток с пальца сует меж бледный тощих ягодичек мальчишки и пристраивается. Когда он начинает свои втыкания и сопения, мне становится противно. Я подхожу — там

рядом на сухом листе аккуратно лежит этот окурочек, охнарик на одну затяжку, — и втягивая крошечную толику дыма, совсем чуть-чуть. Для поддержания общей расплывчатости мира.

По совести — сдать надо Петюню ментам. Но это только на месте преступления эффект имеет. Петюню тут же опустят еще в СИЗО, сделают петухом, определяют к параше, и на зоне он точно подохнет. И хрен бы с ним. Но мальчика-то сдадут в спецприемник! И народ обязательно узнает, что его драли в дупу! И каторга для него будет такая, что очень даже легко повеситься может. А здоровье точно отнимут, и характер на всю жизнь изуродуют. Вот такое равновесие добра и зла в природе. В человеческих джунглях.

...Видимо, одна затяжка эта, да на утренние дрожжи, на меня все же подействовала. Потому что когда я осознал себя сидящим на жухлой траве, а спину больно подпирал неровный ствол не то липы, не то осины, — по щекам текли слезы, и печальная боль по человечеству, поголовно несчастному, заполняла мой объем точно по границе кожи, которая отграничивала мою боль от Вселенной.

В пяти шагах Петюня курил нормальный окурочек с видом расслабленным и опустошенно-счастливым. Оргазм он испытал, гадина. Мальчик сидел на равном от нас расстоянии, образуя третью вершину равностороннего треугольника. Джинсы его были в порядке, губы сжаты, иногда он делал странные движения руками, будто отгонял тополиный пух.

— Хоть бы денег заплатил, фашист, — сказал он, заперхал и стал лизать сухие губы.

— Я тебя лакомствами накормил, — рассудительно возразил Петюня. — Я тебя кайфом угостил. Ты, между прочим, тоже от меня удовольствие получил.

— Чи-во-о?!

— Был бы умнее и образованней — понял бы, что получил удовольствие. Наслаждение. Бесплатно. Так с чего же мне тебе еще и деньги к этому всему давать?

Пацан Андрей встал, пошел боком и опять сел.

— Убью я тебя, — безжизненно сказал он. — И тебя убью. Обоих убью. Хоть на улице. Хоть днем. Встречу — и убью. Пику в печень суну — и слохнете. Оба.

— Вот видишь, — поощрительно кивнул Петюня, — теперь у тебя есть цель в жизни. Это хорошо. А может — придушить мне тебя сейчас, а? Для спокойствия? И прикопать? Здесь и сейчас! А? Ты как?

Суну я ему когда-нибудь под настроение гвоздь в ухо, и спишется с меня половина всех грехов. Только с духом собраться... а то в глазах какое-то голубое мелькание...

Голубой звездолет

В космосе уходил в бесконечность застывший голубой водопад — в тысячу километров высотой и тысячу километров глубиной.

И вдоль этого водопада тысячу лет в голубом звездолете летел я. И чувство полета в прекрасной и бесконечной свободе было прекрасно, и счастье это было абсолютным и нескончаемым.

Водопад искрился, и в каждой искре был мир, огромный и законченный. В этом мире все миги жизни застыли в одном времени, и можно было переходить из одного мига в любой другой сколько угодно. А в центре мира стояла огромная, как тот водопад, старинная электронно-вычислительная машина, мигая лампочками и дрожа стрелками. Машина была лишь маскировкой диспетчерского центра, а центр был похож не величественное лицо, из которого исходили лучи, и каждый луч проецировал движущуюся цветную картинку. Все эти картинки и были мгновениями, из которых складывалась моя жизнь.

Фокус в том, что этим лицом был я, и диспетчером был я, и я сам складывал свою жизнь из чего хотел. Вокруг плыл узор из прекрасных женских фигур, и это была любовь. Золотой свет подчеркивал прелесть этого живого рельефа, свет исходил из золотого нимба под их ногами, и это было богатство — легкое и неограниченное. Позади свечения угадывался огромный красочный зоопарк в тропическом саду, типа райского. И все происходило на берегу озера, золотой цвет которого объяснялся тем, что там благоухал драгоценный коньяк. И берег щетинился рядом вонзенных копий — знак верных друзей, ждущих меня.

И не успел я устыдиться потребительской вульгарности своего мира, как он проникся дрожью, стал сворачиваться в трубу и медленно вращаться по часовой стрелке, слева направо: изображения изогнулись и стали длинными, соединились в тоннель, плавным правым загибом поднимающийся вверх, стены тоннеля светились фиолетовым рыцарским светом и состояли из больших шестиугольных чешуек, скорее граненых боевых щитов, чем кедровых шишек. Я был светящимся облачком, летящим по этому тоннелю, выход впереди светился ярко, там нестерпимо сиял лучезарный, бездонный, ослепительный туман — это была пустота, но в этой пустоте содержалось абсолютно все в жизни и вообще во Вселенной. Один голос, как внутренний магнит, велел стремиться туда и познать нечто абсолютное и совершенное, что и есть цель жизни, — противоположный же голос, магнит тот же внутренний, холодея от страха велел тормозить пока не поздно: хоть это и стыдно, и манит изведать тот свет за порогом, но это — небытие, возврата не будет, смерть это.

Тогда вращение прекратилось, я лежал на кушетке, застеленной чистым бельем, а рядом на табуретке сидел профессор Калашников, друг мой Боря, и с добрым дружеским ехидством следил, как я отхожу от кайфа. Длинный, тощий и непобедимо обаятельный в своем жизнелюбивом цинизме. Он вовсе не умер и вид имел преуспевающий. Клиника его процветала.

— Как самочувствие? — поинтересовался он и положил пальцы мне на пульс.

— Отлично, — уверил я, пытаюсь встать, но он меня удержал и велел не торопиться.

Я увидел свои руки и сообразил, что я не-старый, мускулистый, очень чистый и хорошо одет.

— Ну, как тебе понравился кетамин? — спросил Калашников, а я уже знал, что через девять лет он умрет от передоза. Но это просто будут говорить так, что от передоза. А на самом деле он давно знал, чем кончит, и ушел по собственной воле, легко и счастливо. А был доктор милостью Божьей, этому нельзя научиться, родиться таким надо: только посмотрит, ухмыльнется, скажет слово — и тебе уже легче, и все будет в порядке, и ничего страшного в жизни никогда с тобой не случится.

Я в замке король

Отец мой оказался сукою. А ведь хороший был. Когда я пошел в первый класс, он пошел неизвестно куда. То есть ходок был. Больше я его не видел. Не то он в Америку съехал, не то в альфонсы к кинозвезде устроился: преуспел, короче. А может, под машину попал. Мать о нем говорить отказывалась. Она меня одна поднимала. Поднимала-поднимала и надорвалась. Врачом пахать чего ж не надорваться. Хотя вообще я был тихий и неплохо учил-

ся. Верил, что ученье — свет и светлый путь к будущему счастью.

В армии я служил в аэродромном обслуживании, колхоз полный, а тут как раз настала новая эпоха. Замполит объявляет — а ни хрена ни понять. Советского Союза больше нет, а вроде и все по-старому. Россия вроде теперь независима — а Украина тоже. Не изменилось ничего, но выйдешь из части — везде «желто-блакитные прапоры». Кормили отравой — стали еще хуже. И керосин завозить перестали. Аппараты встали на прикол. Офицеры на своих «жигулях» подрабатывали бомбилами. Летчики пили и увольнялись из кадров. Кто в охрану, кто в бандиты, кто в бизнес. Было такое новое занятие — кооператор, и тут же исчезло, стало — бизнесмен.

Пришел из армии, поужинал с мамой, пошлялся неделю по городу. Бабам прежним позвонил, все при своих делах, с одной только покувыркались. А я на тот момент, заметьте, бросил пить и курить. В армии в свободное время спортом занялся. Так из себя ничего, а здоровье с детства не очень. А жить и всего добиться охота.

Брожу и жизнь ноздрями втягиваю. Бурное время было, быстрое. Смотрю: «Сибирский дом Ангара». И народ снует. Вход охраняемый, но свободный. Зашел свободно.

И вижу я, ребя, такую картину. Окошечки кассовые. Проталкиваются к ним в очередях мужички, в руке у каждого — котлета каких-то бумажек. Суют их туда. А обратно протал-

квиваются с такими же котлетами денег. А другие наоборот — деньги сдают, бумажки получают. Цветные такие типа документов. Это дело меня заинтересовало. Если котлету бумаги можно обменять на котлету денег — есть смысл заняться такими бумажками.

Да я только рот открыл — тут же юноша с галстучком нарисовался, под локоток да в уголок поволок: растолковал все мгновенно. Условия простые. Вкладываешь в компанию тысячу — и каждый месяц тебе по двести выплачивают. В год получишь две четыреста.

Но это — только если ты каждый месяц прибыль снимаешь. А если оставляешь прибыль работать в бизнесе компании — то каждый месяц тебе рисуют к дивидендам плюс десять процентов. Месяц не снимал — через два снимешь двести плюс триста. Два месяца не снимал — снимешь двести плюс триста плюс четыреста.

— Через девять месяцев вы можете снять пять тысяч четыреста рублей процентов, и после этого получать по тысяче рублей ежемесячно.

— Вы что, деньги печатаете? — интересуюсь я. — Откуда возьмутся-то?

А у него рубашечка беленькая, галстучек в темную полоску, и бирка на лацкане: «Владислав. Менеджер по финансовому балансу». Усмехается покровительственно и объясняет:

— Бизнес в нашей стране сейчас встает на ноги. За оборотные средства идет страшная конкуренция между предпринимателями. За

привлечение капиталов готовы отдать все. Ваши средства вкладываются в торговлю, в импорт товаров народного потребления, прежде всего — сами понимаете, сигареты и алкоголь. Там оборачиваемость вложений — две недели, а прибыль — триста-пятьсот процентов. Люди делают до тысячи процентов в месяц — а спрос еще не удовлетворен, растет. Понимаете, насколько выгодно предпринимателю давать вам в месяц даже тысячу процентов, если сейчас началась скупка предприятий за малую часть их стоимости, потому что денег в стране ни у кого нет? А через три года эти предприятия — хоть нефтеперегонные заводы, хоть ткацкие фабрики, хоть универмаги — будут стоить в сто, в тысячу раз дороже, чем сейчас, пока страна нищая! Вот такой у компании интерес платить вам проценты. Это нормальное бизнес-партнерство — деньги одного плюс работа другого, а прибыль делится.

Подает он мне цветную брошюрку, где все это изложено с рисунками и диаграммами:

— Поспрашивайте у людей, их вон сколько в зале, послушайте, что они вам скажут.

А они что говорят? Они говорят: вот он, капитализм, вот она, справедливость и нормальные деньги для честного человека! Подтверждают, объясняют и уверяют.

Тысяча рублей на тот момент равнялась девяти долларам, точно помню, и денег у меня с собой таких не было. И ста рублей тоже не было. И это оказалось хорошо.

Поголял я и через полчаса сообразил, что деньги надо не отдавать, а брать сразу. Выигрывает всегда тот, кто банкует. Купил газету, прочитал адрес типографии. В типографии узнал, почему стоят такие бумажки — акции то есть напечатать. А где ваше юрлицо?

Расценки в юридической консультации остались — десять рублей за консультацию. И никому были не нужны консультации, потому что выжить они не помогали. Не набрал еще юрист силу, большая часть не прибилась к золотым берегам и болталась в проруби вместе со всем отстоем, кинутым народом то есть. Прошел я пустым коридором, стукнул в дверь — и через полчаса вышел, купив за десятку знаний на двести миллиардов рублей, как потом оказалось. Да, мельчал рубль, так вагонами возили.

А спустившись с крыльца, купил я тут же газету в киоске и прочитал объявления, по которым предлагали купить готовые фирмы «из стола». Весь комплект документов с банковским счетом и печатью. Закрытые акционерные общества, открытые акционерные общества, паевые товарищества и товарищества с ограниченной ответственностью. Оформление покупателя директором — в присутствии, в течение получаса. Необходим паспорт. Того, кто будет директором. Причем — чей угодно паспорт: какой принесешь — на того и оформят. Это все дело мне только что скорбная юристка объяснила.

Короче, объяснил я маме про жизнь, сняла она с книжки все деньги, которые и так в пыль превратились, заначку из книг вытащила, и на завтра купил я за восемьдесят долларов подходящую фирму. И стал полноправным юристом. Генеральным директором ООО «А-Цюрих-инвест». И знакомая маминой знакомой выдала мне в банке на эту фирму пять тысяч долларов кредита — за пятьсот отката. Кстати, слова «откат» еще не было.

Через неделю у меня был снятый офис в центре, охранник, четыре девочки за окошечками и штабель ящиков с напечатанными акциями-билетами по 100, 500 и 1000 рублей. Акции большой художественной убедительности, эскиз я сам выбирал в типографии из готовых. А себе я купил деловой костюм и напечатал бейджик «Генеральный управляющий». Объявления в газеты и на радио мы сочиняли с мамой вместе; она вздыхала и крутила головой.

Вообще я сильно сомневался в своей авантюре. Но — фигня! Если у других идет — я что, дурнее?

И народ — попер!

Попер и понес деньги!

Их складывали в картонные коробки изпод масла.

Первый день у меня кружилась голова от нереальности всего этого. О чем они думали, во что они верили — хрен их знает. Как фантики отдавали. Игра в бизнесменов. «Поле чу-

дес в стране дураков» — тогда по телевизору кто только эту фразу ни повторял.

Через два дня я был обладателем килограммов ста денег. Их там набралось шесть с половиной миллионов рублей. В двадцать один год я стал миллионером.

...Через два месяца в двадцати городах работали филиалы фирмы «А-Цюрих-инвест». Они принимали деньги и зачисляли на счета. В каждом филиале был бухгалтер, юрист на договоре, менеджеры и охрана. Что касается названия, то купленная мной за восемьдесят долларов папка, в смысле ООО, называлась иначе, но переименовать было пять минут и пять баксов. Я два вечера ломал голову над подходящим названием и советовался с мамой. Хотя у нее это все особого доверия, понятно, не вызывало.

Хочу понять

В моем положении прекрасно то, что все уже случилось. Не надо бояться худшего. Бомж подобен самураю: всегда готов сдохнуть. Мысленно каждый из нас уже умер.

Еще прекрасно то, что ничего не надо делать. Пушкин писал про нас: «На праздность вольную — подругу размышленья». Дворянин — это бомж с неограниченными средствами. Чем я отличаюсь от Онегина? — баблом. Статус разный, а суть одна: лишние люди.

Вот я и размышляю — делать-то все одно не хрен. И о чем бы ни задумался — приходишь к одной теме: хрен ли это за страна, что я стал бомж? Я хочу понять закономерность.

Вот смотрите. В девяносто первом объявили свободу. Запрет идеологии, свобода слова, мысли, печати, передвижения, главное — свобода занятий и предпринимательства; свобода партий, движений и так далее. И что произошло? Сразу наверх пошли воры и бандиты.

Народишко резко обнищал и вопит: батюшки наши власти, грабют нас! А власти отвечают: дак а мы тоже грабим. Потому что свобода предпринимательства. Тебя хотят ограбить — на то его свобода. А твоя свобода — на то, чтоб не дать себя ограбить, а наоборот — ограбить его самого.

А журналисты поддакивают: точно, это называется рынок. А рынок — это значит: в свободном обществе все имеет свою цену. И в свободной конкуренции борется, чтоб за себя со своим товаром взять цену максимальную. Кто против свободы — тот совок и тоскует по империи и крепкой руке.

И на этом рынке продается все. Закон, суды, менты, все государственные чиновники — все продается: потому что рыночные отношения и свобода. А что ж государство? А государство и продается: по частям, в розницу.

То есть: они с самого начала грабеж, воровство и коррупцию приняли как часть свободы и рынка. Был революционный лозунг: «Грабь награбленное!». Теперь он сменился

контрреволюционным лозунгом: «Грабь кто кого может!».

Честное государство воспитывает честных. Трудовое государство воспитывает трудяг. Лживое государство воспитывает врунов. Ну, а воровское государство воспитывает воров. Вор в нем — это логично.

Интеллигенты, в частности журналисты, оказались полезными идиотами. Они так и не поняли, что свобода без берегов — это бандиты вместо государства. Это быстро оказывается: сила без справедливости — вместо справедливости даже насильно.

Слабые, больные, старые и малые — оказались не нужны. А нужны только те, кто сейчас конкретно приносит прибыль. Поэтому на хрен школы, больницы, пенсии, науку, культуру, — воры и бандиты не имеют с них прибыли.

Отдельный человек думает о собственном благе. А государство думает о благе общем, всего народа и страны, причем не только сегодня, но и завтра. Значит, задача в том — причем самая трудная задача — чтобы каждый, работая на личное благо сегодня, этим одновременно работал на общее благо завтра. Вот для этого и надо правильно организовать государство. Работая на себя — работаешь на всех. Твой труд — полезен людям.

А при «свободе» можно забить на общее благо большой болт с прибором. И спекулировать на бирже. Или приватизировать нефтяные прииски. И вообще заниматься любым мошенничеством, абы бабки сосать из финансо-

вых сетей. А закон — это просто твои накладные расходы: плати — и закон за тебя.

И на рынке остаются чемпионы по обгладыванию ближних. Сожрали тебя? — сам виноват: не выстоял в рыночных условиях. И все больше народа перетекает из человеческой жизни на помойку.

Допустим, я мог устоять и выжить. Купил бы кого надо, взял в долю кого надо. Или угнал бы через поганки бабло за бугор, как все сделали. Но экономика страны бы от этого не поднялась. Значит, рабочих мест больше бы не стало. Значит, в бомжи пошел бы кто-то другой. Но общее число выкинутых на помойку не уменьшилось бы.

Это еще понятно. Это еще ничего. Другое хуже.

Татаро-монгольское иго. Рабство. Враги помешали хорошей жизни.

Царизм. Крепостное право. Монархизм и рабство мешали хорошей жизни.

Советская власть. Диктатура пролетариата, государственная экономика, цензура и кровавые чекисты мешали хорошей жизни.

Девяносто первый год! Свобода, равенство! Долой тюрьму народов! Проходит двадцать лет — и мы опять построили себе цензуру, бесправие, авторитарную власть и нищету большинства.

Значит, народ такой. По отдельности большинство хорошие — а все вместе выходим дерьмо. И крупинки золота и сахара в этом дерьме общей картины и вони не меняют.

Пока его угнетают — он плачет и мечтает о справедливости и добре. Как только поднялся до минимальной власти — стал той же сволочью, плюющей на других. Когда он раб — его жалко. Когда он хозяин — да лучше бы оставался рабом.

Вот в чем горе.

Возьмем Африку. Там как возьмутся где строить демократию — получается в конце концов такая кровавая диктатура, что колониализм — это их светлое прошлое. Не подходит им этот строй. Психология другая. Менталитет не тот.

Вот и нам не подошла американско-европейская демократия. Психология не та и менталитет не тот. Поодиночке — в их строй, приехав, мы встраиваемся легко. А все вместе — автоматически строимся в жлобский вариант монархии.

Да ведь Путин еще был тише воды ниже травы — уже бросились ему лизать, льстить, угождать, клясться в верности. Холопые семья. Ну и получайте свою великую державу.

А мы живем на великих помойках вашей державы. И вас всех в гробу видали.

Выпить мне пора. А то, наверно, давление от стресса поднимается.

Пророк

Чтоб нечего было жрать — так не бывает. Мелочи на батон настреляешь всегда. Но иногда бывает. Ну непруха. Дождь мочит, люди

злые, настроение сломают. Вот вчера вообще не жрал, и сегодня с утра — ни хрена же нигде. И тогда я пошел к Пророку.

К нему часто нельзя ходить. Не то что совесть, а типа общественного контроля. Это как последний страховой фонд. Иначе общество его мигом обожрет и кости сглодает. Но я уже давно не ходил. Точно больше месяца. Точно не помню, конечно, но давно. Может, и месяца три. Время-то летит. Душит, воняет, ползет, а само летит.

Короче, пошел я. С духом собрался и пошел. К нему страшновато ходить, честно говоря. Да нет, во всю эту муть я не верю, конечно, но что-то там есть. А может, и верю немного, честно говоря. К нему только начнешь идти — а уже и жрать неохота. Пропадает аппетит.

Идешь и не знаешь, застанешь его или нет. Он возле городской думы работает. И не каждый день. Так примерно в неделю раз стоит. Причем заранее нельзя знать — утром он встанет или к концу рабочего дня, на выход. Народ-то предпочитает на выходе, спокойно, не торопясь — а он иногда к девяти припилит и первому попавшемуся мозги вставляет.

Он человек двойной. От его взгляда иногда голова кружится, ему в глаза долго смотреть не надо, ну его на хрен. У него две биографии, и каждая арматуриной по башке должна ведь кончиться. В два смычка жизнь сыграна.

По первой биографии его еще ребенком забрали у родителей и определили в особую

школу-интернат КГБ для детей с паранормальными способностями. Понятно, что была это в общем не школа, а секретная лаборатория КГБ, где исследовали чтение сквозь непрозрачную преграду, двиганье предметов взглядом, воздействие на результат рулетки и карт, и всякое такое. Но главное — считывание мыслей, внушение заданных мыслей врагам, предвидение будущего и тому подобное. Это ведь не только литература. И у нас была такая лаборатория, и у американцев.

Один такой человек заменяет разведывательный отдел. Только результат выше. Работает он на переговорах помощником точильщика карандашей или официантом — а сам потом докладывает весь ход мыслей иностранного дипломата, не говоря уже вообще главы государства, что тот имел в голове на самом деле, пока бала-бала вслух свою дипломатию.

А поскольку у той стороны тоже может быть такой экстрасенс — его надо определить и помешать работать, чтоб он наши мысли не считывал. Типа пудрить мозги и устраивать сопернику головную боль. Процент вероятности и процент ерунды тут определить невозможно: может, та сторона не мысли твои прочла, а слова и поступки правильно проанализировала и сделала верный вывод, а результат тот же. Но факт, что отказываться от такой возможности спецслужбы не могут.

Такой человек бесценен на таможне. А следователь если такой! Вот, говорят, выпускники этой школы, сотрудники лаборатории, работа-

ли на Лубянке консультантами следствия по особо важным делам. А идею такой школы подал легендарный Вольф Мессинг еще в годы войны. После бесед с Мессингом Сталин приказал НКВД таких людей искать и отбирать, организовать проверку способностей, а потом под его контролем распределять их в разведку, контрразведку и Генеральный штаб.

Про Пророка рассказывали, что в пять лет его ударило током — ветер провод оборвал со столба, а мальчик после дождя рядом на мокрый песок и наступил. Ну, увидели, закричали, провод палкой подняли, а его оттащили и закопали в песок по ноздри. Типа народный способ уравнивать потенциалы... нет, как это — электропотенциалы. Он очнулся и говорит: «Ой, а я вижу у вас в животиках, что вы кушали». И сказал про их котлеты и макароны с компотом. Ну, слухи пошли; через полгода приехали к ним в село — и увезли его в интернат.

А когда в 91-м году сдернули Железного Феликса в Москве и рухнул Советский Союз, КГБ тоже неслабо размонтировали. Средства урезали, ученые разбежались в челноки, лаборатория развалилась. При Сталине бы всех экстрасенсов ликвидировали. Для страховки. Секретность. А здесь тоже, конечно, несколько человек под машины попали и из окон выпали, то-се, остановка сердца в ванне. Но и сами ликвидаторы в киллеры братве разбежались на хорошие зарплаты — и часть сильно умных и видящих все насквозь осталась жить.

Жить остались, а делать ничего не умели. Только правду видеть. А за это денег нынче не платят. За это обычно убивают. Так что излишне удачливые игроки казино и чересчур проницательные бизнесмены встречались обычно под асфальтом.

А когда пришел Путин и кэгэбэшные ребята стали подниматься — тут кто-то из посвященных про родных экстрасенсов и вспомнил. Стали концы искать и за ниточки тянуть. И пошли наши опустившиеся и затаившиеся гении к комитетчикам в консультанты по финансовым и властным вопросам. И стали майоры КГБ генералами ФСБ и миллиардерами. Да быстро так, безошибочно! Вы что думаете, это так просто, или в КГБ сплошь будущих олигархов и губернаторов принимали?

Но на эту тему Пророк молчит. Может, жить хочет. А может, обидно и несносно ему, что по жизни он нередко ошибается. Редко, но ошибается. Как скажет — человек аж рот откроет: вот проницательный черт, как гениально все понял и предсказывает! А потом по жизни такая фигня выходит, что просто поверить невозможно. Пророк умнее жизни, вот в чем его горе. Жизнь особо умных не любит. В ней дури полно, устроена она так.

Вот он в 2008-м предсказал, что нефть упадет до 40 долларов. А она — хренушки вам. Он каждые полгода предсказывает легализацию проституции. А она и так легальна, просто вместо налогов взятки платит. Он предсказал, что к нам на нефтяные миллиарды приедут за-

падные специалисты создавать все передовое. И как раз наоборот наши прут туда. Тогда он разозлился и предсказал, что Путин в течение года рухнет. Вместо этого Путин закрутил гайки так, что Пророк стал опасаться ментов — некоторые уже даже нами не брезгают. То есть чистый сериал про Мерлина.

Я лично в эту его биографию не верю. А иногда верю.

А по другой биографии мужик просто со школы буквально делал карьеру. Умный был и нравиться людям умел, особенно начальству. Пошел комсомольским секретарем, потом партийным, в райком взяли, в результате дорос уже до третьего секретаря горкома, а в перестройку на партийные деньги создал кооператив, что-то гнал за бугор. Обналичивал безналичку, бабла наскирдовал немерено — а потом из горадминистрации бизнес его отжали. Он стал судиться — а над ним в глаза издеваются. И свезли его в дурку: он от переживаний вообразил, что на каком-то съезде КПСС борется с частной собственностью, в стяжательстве стал каяться. А что дурка: поширяли аминазином и выкинули: социально не опасен. И статья в паспорте. Можно дворником, можно коробочки клеить.

Дальше — история обычная: семье он стал в тягость, сдали в конце концов в дом хроников, из дома приюта того он сбежал — а верней просто ушел, никого не держат, на твое место очередь, завтра другого оформят и только статистику свою улучшат.

Вид у него жутковатый. Высокий, костистый, прямой, длинные седые патлы, голова откинута. Опера «Борис Годунов», со смертью по одной тропинке ходит, ну.

И вот подходит он иногда к родному горкому. Там аллея от тротуара до крыльца голубыми елочками обсажена, фасад серым гранитом облицован, а сам подъезд — черным, полировано все, двери высокие — дуб с латуню.

В бывшем горкоме — как полагается: городская дума. И не все депутаты разжиревшие бандюки или холуи олигархов. В рядах старшего поколения остались партноменклатурщики, сумевшие правильно вложить свой алый партийный билет Фортуне в ту щель, откуда деньги сыплются. От них и молодые знают, что это за гордое пугало у второй елки справа стоит и смотрит поверх голов величественно. Стало хорошим тоном с Пророком здороваться и даже заговаривать. А заговорив — как бы незаметно совать деньги в карман пальто. Пальто надето поверх рубашки, серое, драповое, карманы накладные, прямые, удобные. И вдруг в этом что-то возникает человеческое: будто свои жалеют своего и поддерживают.

А мелочь ведь не сыплют: самое малое полтиннички складывают аккуратно и опускают в карман достойно, словно это урна для голосования. А обычно стольнички подают. Для гордости иногда и пятисотки вкладывают.

А Пророк им руководящие указания дает и прогнозы открывает, и в композиции двух людей при этом возникает зависимость: один де-

лает одолжение, а второй принимает и благодарит.

«С бабами поостерегись. Скоро неприятности с женой будут», — говорит он.

«За услуги до 1 Мая не бери. Стукануть на тебя хотят, сгореть можно, откупаться дорого встанет», — говорит он.

«Расширяй бизнес спокойно. Тебе сейчас катит», — говорит он.

«Человеку в зеленом костюме делай все, что скажет. У него глаза черные, и власть над тобой большая», — говорит он. И говорит негромко, по-деловому, без пауз, с абсолютным знанием всего: будто для разведчика нет тайн, а докладывает секрет кратко лишь столько, сколько сейчас спросили. Безумный орел зрит из выси за горизонты времени и раздает целеуказания. Вот как-то так. Его серьезно слушают.

Есть мнение, что к нему прислушиваются наверху. Или — Наверху?.. Потому себе спокойней его слова учить. По крайней мере иметь в виду.

Продавай срочно машину — угонят, и не найдешь. Вложи деньги в землю за восточной дорогой — там строить будут, вздорожает все-меро. К врачу иди срочно, да не к нашим беднякам — в Швейцарию езжай, на полное обследование, опоздаешь — через год похоронят. И ведь шесть раз звездит — седьмой попадет!.. а этого достаточно, чтоб мороз по спине.

...На подходе к горкому, в смысле гордуме, я встретил Синяка, и мы честно бросили на морского, кому идти. Тот отстегнет немножко

другому. И Синяк отвалил. Ему жить от силы полгода осталось, зря под ногами путается.

Я чуял, что Пророк сегодня с утра там. Его всегда чуешь, как хочешь — так и объясняй это.

Он стоял в своем серо-буром двубортном пальто, распахнутом, как на памятнике, и с ним здоровались коротко стриженные мужчины в тончайших кашемировых мантиях. Нищий на паперти и полководец на параде: двойной человек.

В десять черед отцов города от парковки к подъезду иссякла, и Пророк направился ко мне.

— Ждешь, Пирамида? — он всех помнит. — На хлеб дам и на опохмел дам, больше не дам. — Вынул из кармана стольник, чистый, даже не сложенный пополам, и подал двумя пальцами — отстраненно, но не обидно. Не ровня я ему.

— Зиму переживешь, но легкие береги. Старая любовь тебя помнит.

Что его понесло? Я не просил. Он редко вообще говорит кому попадая. За бесплатно и чужому. Мне лично впервые.

И пошел он прочь — голова откинута, пальто развеивается, седая грива нимбом; кто ни есть, а красиво состарился человек. Значит, за что-то дано ему это было.

Бедняк всегда чужие деньги считает, а богач еще и пересчитывает. У нас с ребятами выходило, что Пророк имеет с Думы тысяч десять в месяц. Так ему еще иногда и на улице некоторые подают. Есть такая примета, что его встретить — к добру, а подать — к следующей

встрече. Он бы мог виски пить и на лексусе ездить, а раз в неделю играть в маскарад, такие люди бывают. А он куда свои деньги девает — тайна. Говорят, что жертвует на тот дом хроников, из которого свалил. Еще говорят, что на детдом. Или на больных сирот. Говорят и то, что на дешевых киллеров — особо злых городских чиновников убрать. Хрен их знает, этих пороков, на что они способны. Если не знаешь — на все они способны.

Разменял мне Синяк стольник, двадцатку ему, а я купил в маленькой аптеке на Петровской флакон «Гвоздики», еще полчерного и у заднего хода овощного взял хорошую луковку. Сорок пять грамм выпил за Пророка, а еще сорок — за свое здоровье. Я люблю пить с тостами.

Женский портрет в интерьере

Алену вот встретил в старых гаражах у Промзоны.

— Ну что, дать тебе? Сто грамм за палку!

Ее верблюд в голодный год за пуд колючки не станет.

— Вон иди выломай из забора, будет тебе палка.

— И у тебя маятник не заводится, алкаш.

Вместе дождик переждали. Она себе где-то пальтишко нарыла почти новое. Было бы по фигуре, если б у нее вместо тумбочки была

фигура. Старый боевой знакомый. Зубов пять во рту, лохмы серые. А смотрит как женщина, и говорит как женщина, и делается от этого просто непереносимо. Она тоже человек. Как и все мы. Но только ее видеть лучше не надо. И помнить не надо. Как, впрочем, и всех нас.

Алена помойщица наследственная. Отца не знала, мать пила и водила ханыг. Девочке наливали, потом трахнули, с тринадцати лет по рукам да по берлогам. Родила дочь, оставила в роддоме, а в следующий раз ей сожитель стал делать аборт вязальной спицей, чуть не сдохла от кровотечения, больше детей не было.

Она дружит с Кандидой. Слова ловит, все для нее делает. Из тех людей, которым необходимо к кому-то прилепиться, кого они выше себя считают. Таким образом они поднимаются в собственных глазах. И не только в собственных. Любой норовит дружить с тем, кто в этой жизни поглавнее. Нормальное повышение своего положения. И дружба двух бомжих здесь ничем не отличается от дружбы двух политиков, один из которых на этаж выше и богаче.

Дождь кончился — и Кандида к подруге подошла.

— О! — говорит, — Аленка, никак мы с тобой мужиком разжились.

— Разогналась! Он двоих не потянет.

— Да он, бедный, вообще уже мало что тянет.

А ведь отломили колбасы и дали сигарету. Все-таки женщины добрые. Вот уж пугала-

пугалами, а все равно живет это в душе — как-то мужика пожалеть. Был бы пьяный — меня бы на слезу прошибло. Честное слово, мог бы — обоих отодрал. Ну не могу. Ну только под гипнозом. А настоящей женщины у меня не было с тех пор, как замок мой окончательно ушел в прошлое. С настоящей я бы жеребцом скакал. Кажется мне так. Потому что когда глянешь на свое тело — такого мерина давно на живодерню пора, клей из копыт варить.

Они иногда, бедолаги, лесбос практикуют, на Алену мало у кого встает, а Кандида — вообще пенсионерка, ей под шестьдесят, наверно, наши столько не живут. С ней-то совсем другая история, она вроде меня, продукт эпохи.

Кандида — это сокращенное от кандидатки, не звать же человека так длинно, а получилось даже стильно. Она из нормальной семьи, кончила Политехнический институт, защитила диссертацию, кандидат технических наук. И работала в оборонке, руководителем группы в почтовом ящике. Потом — чего? Тот самый случай: не было «дальше», не было «потом». Институт закрыли, всех на улицу, работы нет, до нормальной пенсии стажа не хватило — да и та была бы копейки нищие. А жила в двухкомнатной квартире с дочкой, зятем и маленькой внучкой. А еды на всех не хватает — начало девяностых.

И стала она у вокзала воблой торговать. В цветочницы не пробилась — азеры все крепко держали, баб допускали только нестарых и

простых на передок. А ей надо домой-то деньги или еду приносить. Дочь болеет, внучке четыре года, зять устроился автобусы мыть в автопарке, стыдно кусок в рот совать. А торговать трудно, оптовый продавец цену дерет, мент за место деньги дерет, азер ходит — на крышу бандитскую собирает. Короче, подписали ее травой торговать. А она ж интеллигентка, она ж дура. Короче, подставили ее крайней — и четыре года.

Жизнь в колонии она вспоминала как неплохую. Кормили хоть как-то три раза в день. Шконка, белье, баня почти каждую неделю. Ну, шить тапочки, ну, оставят допоздна, и черт бы с ним, все равно делать нечего и думать не хочется.

Вышла по УДО, прописали ее дочка с зятем обратно, а потом стали из-за нее ругаться. Вроде и обвинить ее не в чем, а по жизни все равно лишняя. У зятя злоба внутри копилась, а придраться не к чему. Так стал на жене срываться.

А у нее, зэчки вчерашней, кандидатки позавчерашней, кроме дочки любимой и хворой никого и не было. Только внучка. А внучка плачет, когда мама с папой ругаются и мама плачет.

Короче, сказала она, что поживет пока месяц у подруги, которая в отпуск уезжает и ей оставила комнату. А подруги кто перемерли, кто разъехались, кто сами корочки сосут. А на ее пенсию прокормиться невозможно. Надо ведь и за свет платить, за квартиру. Ну. И со-

брала она сумочку и пошла ночевать на вокзал. Пожилая женщина, выглядит прилично, милиция не трогает. А днем гуляет и на лавочках сидит.

А на четвертую ночь менты подошли. Отбрехала она и пошла на автовокзал. Дальше — проще. Свет не без добрых людей. Познакомилась с бомжами, стала ночевать в ханыжной хате, обокрали, научили искать еду. И постепенно научили выпивать. Она в жизни не пила. А тут понравилось, что отвращения на минуту — а потом забыться можно на часы.

И вот смотрю я на шейку ее куриную, на морщинки вокруг глаз сереньких, где прямо видно, как боль насмешкой зажата, и совершенно не понимаю, какое отношение это бесполое существо имеет к радостям жизни. Тут не то что мысли о сексе бегут прочь, как зайцы от пожара, тут заявление в общество скопцов напишешь.

Вообще ведь половая функция нам лишняя. Эстетически она не выдерживает никакой критики. На укрепление державы не работает: от бомжа родится в лучшем случае вор, а с этим и нормальные граждане справляются. И отнимает силы, которых и так не хватает.

Неконтролируемое размножение бомжей, я сильно боюсь, скоро будет вынесено на обсуждение в Государственной Думе. Комитетом по социальной защите, например. С них ведь станется — могут принять закон о поголовной стерилизации тех, кто не имеет постоянного

жилья и регистрации. Допустим, я не собираюсь размножаться, но подобная инициатива будет мне неприятна.

И без того половая функция бомжа угасает быстро. Природа права — зачем ему размножаться? Это тупиковая социальная ветвь. Вернее — это отстойник, где человеческий материал быстро возвращается в природное неодушевленное состояние. Кто это сказал — навоз истории? Вырастет травинка, ее скушает корова, даст молоко, его выпьет вундеркинд и делает мировое открытие. Ничто не пропадает в мире. (Падла, как я иногда излагаю! В минуты просветления. Аж горжусь собой.)

Во-первых, ты постоянно пьешь отраву. Во-вторых, ты не жрешь. Организм оглушен и слаб. И мозг занят стремлением к кайфу прямым путем. Выпить, курнуть, — захорошеть. А в бессознательном состоянии секс лишний.

И в-третьих. Когда ты забалдеешь так, что подруга по соседней помойке покажется тебе милой и желанной, твоих сил хватит как раз на то, чтобы немедленно уснуть у нее на плече или где сумеешь.

Баба богаче телом, чем мужик. С ее богатств и спрос больше. А богатства стары, ужасны на вид и отвратны на ощупь, а особенно запах тухлой селедки непереносим. Только на свежем воздухе, и чтоб ветер дул со стороны головы в ноги, ни в коем случае не наоборот.

В школе нам раздавали брошюры «Это мешает нам жить». О вреде онанизма. И все

продолжали заниматься онанизмом, но теперь уже страшно терзались, что это вредно, порочно и мешает нам жить. Школа вообще умеет портить удовольствие от жизни. Потом оказалось, что это называется самоудовлетворение, и совсем не вредно, а наоборот, нормально и даже полезно. Облегчение людям наступило страшное. А пользу даже трудно переоценить. Во-первых, это крайне гигиенично, передача инфекции исключена. Во-вторых, экономически ничего не стоит и не влечет никаких социальных обязательств и проблем. В-третьих, это обеспечивает абсолютную свободу личности в области секса. И в-четвертых это дает максимальный выбор партнеров, позиций и любых сексуальных фантазий: на это человеку и дано его огромное воображение.

Иногда я думаю, кто заселит страну, когда мы все сдохнем. Для китайцев и мусульман это будет большой праздник.

Собака

Чем мы хуже корейцев, в конце концов. Если ты жрешь то, что и собака не станет, почему не сожрать саму собаку. Тем более что летом шашлыки в Парке культуры Сахарова продают из свинины и баранины, так вот свиные из свинины, это правда, а бараньи из собачатины. Отвечаю. Они их заманивают в свою кухню-подсобку и там разделывают.

Это я пытаюсь оправдываться. Есть все-таки что-то нехорошее в том, чтобы сожрать лучшего друга человека. Каннибализм-лайт. Следующий этап — сожрать самого человека. Человека, по крайней мере, честнее. Он это заслужил.

Бродячая собака — тяжкое зрелище. Я лично смотреть им в глаза не могу. Хотя они твой взгляд ловят, чтобы свой отвести и завилать хвостом. Быстрым взглядом в глаза они тебя сканируют. Всячески демонстрируют свою зависимость, миролюбие, готовность подчиниться. И слабую надежду, даже без просьбы — вдруг чего дашь, так большое спасибо. А нет — так извини, и не надо. Только не бей меня, не гони, я хорошая.

Они мне напоминают наших граждан на приеме в официальном учреждении. Родные души. Тоскливо делается. Нас жрут, мы жрем. Круговорот веществ в природе называется.

Сидим мы, значит, в Промзоне в курилке, там даже три скамеечки и бочка в центре сохранились, и разговариваем. Седой мировую гибель пророчит, Белинский листает какой-то ветхий учебник по сопромату, Федя всех слушает, и еще Капитан с нами был. Со здоровым фингалом. Он вообще со свалки, его Пугач за свитерок зажатый отоварил и прогнал. У них типа коммуны с диктатором.

— Ничего, — говорит, — пару дней покантуюсь и вернусь. Пугач вообще отходчивый.

И тут идет собака. Обычная бурая кудлатка. Посмотрела, остановилась и изменила на-

правление — в сторону порысила. И оглянулась на свою беду — у нас консервная банка, пакетик из-под еды: жратвой пахнет.

Капитан ей почмокал и кусок хлеба протягивает. И дура несчастная пошла на этот кусман. На передние лапы слегка присела, шею прогнула и смотри снизу исподлобья. Заискивает. Но вплотную приблизиться остереглась. А жрать, судя по всему, хочет — аж собой не владеет.

Он ей кусок бросил, она поймала на лету, а он тихо, ровно говорит:

— Жареная горячая отбивная. Каждому от пуза. Давайте у кого что есть, только тихо, без резких движений.

И Федя медленно подал ему завернутую в пленку сырую сосиску. Капитан ее осторожно развернул и протягивает. Разломил пополам и на ладони дает. А она тянется. И сняла.

Я говорю:

— Эту шерсть пилить — только бритва возьмет. На хрен она тебе сдалась.

— Зима скоро, ее другие собаки съедят, какой смысл, гуманист хренов, — он отвечает.

Белинский от книжки оторвался:

— У вас на свалке все живодеры. Уроды. Ты посмотри на нее! Я ее есть не буду.

— Ладно, будешь жевать и сплевывать. Или Пирамиде отдавать. Вот зимой сдохнете — эти собачки сами вас съедят. Борьба за существование, уроды!

И протягивает ей левой рукой другую половинку сосиски, а правой тянется погладить. И погладил: вцепился в шерсть и тут же ока-

зался на ней верхом, зажал коленями. И всем весом к земле прижимает.

— Держи! — кричит, — задние лапы держи!

А вот ни хрена-то никто не пошевелился. Нет, Федя пошевелился: своими граблями стиснул ее сзади. А псина визжит отчаянно и выкручивается.

— Питекантроп долбаный! — кричит Седой. — Да отпусти ты ее, я тебе полпачки печенья отдам! — Но с места не встает.

Как же, думаю, этот урод ее резать-то будет? Или задушить решил? А это противно, она обгадится, жрать ее потом...

А он левым локтем зажимает ей шею, а правой рукой достает из кармана гвоздь и всовывает ей в глаз. Дернула она два раза лапками, и затихла, бедолага.

— Ты здесь-то не свежуй, — сказал Федя. — Мы здесь отдыхаем. В сторону отойди.

Капитан оттащил тушку под стену, а мы развернулись и смотрели.

Он вытащил хозяйственный нож с пластмассовой ручкой и потемневшим лезвием, поплевал на обломок кирпича, поточил. И стал отпиливать собаке голову. Темной крови было на земле совсем немного. Он отпил, поднял за ухо и отставил в сторону.

Белинский вдруг сказал:

— А интересно, как готовят собак корейцы? Надо почитать. Наверняка же есть много книг по корейской кухне.

А Капитан отвернул рукава; нож в правой руке; вложил лезвие между указательным и

средним пальцами левой, как в ограничитель, только сантиметра два острия торчало, и взрезал брюхо от грудины до хвоста. Запустил руку и вырвал легкие вместе с трахеей и пищеводом. Потом выгреб кишки. И оттащил тушку в сторону. Провел разрез вверх до горла, а потом вдоль внутренней стороны лап до центрального разреза. Отложил нож и одной рукой стал край шкуры оттягивать, а кулак другой всовывал между шкурой и мясом, разделяя их. Ободрал. Умело так ободрал!

А мы молча сидели и смотрели.

Он поднял безголовую окровавленную шкуру с хвостом и заржал:

— Кому на воротник? — И откинул.

— Пакет чистый подайте, — скомандовал он, и Федя принес ему пакет и постелил. Капитан стал срезать куски мякоти и складывать на пакет.

— А кто за бухлом-то побежит? — руководил он уверенно. — Хавку я обеспечил царскую!

Никто не ответил и не посмотрел. Не вытанцовывалось ничего.

— Ну че сидите? — крикнул он нам. — Огонь-то сделайте!

Я пошел в ангар раскладывать костер, прихватил кусок поддона. Седой пожал плечами и присоединился.

Ну что. Нажгли досок, между двух железных коробов положили ряд арматурин, а на арматурины те были нанизаны шашлыки, вполне обычного вида. Темно-красное мясо. Которое на глазах светлело, а потом делалось

коричневым. Запах, конечно, обалденный пошел, прямо желудок заволновался, в хорошем смысле.

— Эх, лучка бы, — прищелкнул Капитан.

Н-ну — ели без лука, без помидор, без хлеба, но главное — без водки. Без любого бухла. Ароматное, горячее, удивительно сытное мясо.

— Вкусно, черт, — признал Седой, чавкая.

— Действительно похоже на баранину, — светским тоном откликнулся Белинский, вытирая растопыренный ладони об учебник. Не понравился ему учебник.

Я думаю, сожрали мы не менее чем по килограмму. Федя отдулся, рыгнул и треснул Капитана в правую скулу.

— Ты че, охренел, ушлепок?! — заорал Капитан, поднимаясь с пыльного цементного пола.

У него был фингал на левой скуле, а теперь будет такой же на правой.

— Извини, братан, — сказал Федя. — За обед — братское тебе спасибо. Давно так не ел, это правда. Смогу — тебя угощу. Но пойми ты меня тоже — ну не смог я стерпеть!

Спасите наши души

А здесь мы на воле — внизу, а не там. Высоцкий был гений во всех смыслах.

Все счастливые люди счастливы по-разному, все несчастные несчастны одинаково. Как-то

так начиналась, кажется, какая-то знаменитая книга. А может, и не так. Какая нам хрен сейчас разница.

Можно было бы много рассказать о каждом, кто спустился к нам сюда на дно. Интересный был бы такой роман — «На дне». Народу — не протолкнуться.

Вот этого обманом выписали из квартиры. Вот эту выгнали дети. Вот этот вообще с детства детдомовский. Этот залетел по дуре на зону, а потом нигде не хотели брать на работу. А этот был блатным, но спился, опустился, а может, ему все потроха отбили в ментовке, а может и кореша, и теперь он доживает остаток, ждет спокойно конца. А этот вообще был кандидатом наук! А это товарищ прапорщик, знакомьтесь (прапорщики почему-то пьют ужаснее всех). Но общее у всех одно. Сломанные люди.

Но не бывшие, нет! Может здесь, на воле, когда опускаться уже некуда и бояться нечего, истинная сущность в человеке и проявляется! На изломе-то оно все нутро виднее, кто из чего сделан.

Человек ломается совсем не так, как себе представляют. Представляют: крак, и хребет с треском ломается, как ветка, и тогда человек сломан. Глупости.

Ломание человека происходит постепенно и обычно незаметно ему самому. Это не ломание — это жизнь его постепенно гнет. Сначала исподволь, вообще непонятно: копится внутренняя усталость, бессилие, безнадежность.

Как бы это сказать: агрессия постепенно выдыхается и сменяется равнодушием и смирением. Все меньше сил противостоять обстоятельствам. Препятствия вселяют тревогу и тоску, их хочешь избежать. Работать все мучительнее. Даже в выходные делать что-то по дому мучительно. А лежать и ничего не делать — прекрасно; отраднo; хорошо.

В чем сила, брат? А сила в самой силе, брат. Вот хочешь и можешь ты что-то сделать — значит, сильный. А не хочешь и не можешь — значит, нет в тебе силы; значит, слабый. И когда кончаются в тебе силы — хана тебе, мальчик. Любой ветерок тебя из хилой почвы выдернет и понесет куда захочет. И в результате принесет на помойку. Милости прошу к нашему шалашу.

Не помню, у кого был гениальный рассказ: мальчик (в 19 веке, что ли) с восьми лет работал, помогал кормить семью, надрывался. А в шестнадцать лет вдруг почувствовал однажды утром, что силы кончились, и долг перед семьей кончился, и любовь кончилась: послал он родную семью на хрен, спокойно так, и ушел бомжевать куда глаза глядят.

У любого человека есть своя жизненная программа. Он обычно про это не знает, а она есть. И сил ему в жизни отпущено ровно на эту программу. А уж это у всех по-разному, кому сколько отмерено. И вот бывает человек пашет, как конь, рвет пуп, ломает горб, преодолевает препятствия как танк — и вдруг р-раз! кр-рак! — и сломалась пружина. Выпол-

нил свою программу. Надорвался. Слишком круто свой путь таранил. И больше он ничего не может. Жизнь еще продолжается, а судьба уже кончилась.

Ему-то кажется, что это он просто не хочет. Расхотел. А захотел бы — так смог. Ничего подобного! Это он НЕ МОЖЕТ. А нежелание — это просто выражение его неможения. Он-то себе объясняет, что это воля у него слабая, характера не хватает, лень одолела: а захотел бы — так смог, конечно. А потом начинает себе объяснять, что не нужны ему эти все карьеры и успехи, презирает он их, все там грызутся, готовы друг друга предать, продохнуть от работы некогда, а от нее конидохнут, от работы, шла б она на хрен. Человеку не много надо: поесть, выпить, поспать в тепле, с друзьями поговорить. И незачем мучиться.

Бомж — это наш русский Будда. Не делай ничего, довольствуйся минимальным, получай удовольствие просто от жизни. Так Седой однажды сказал. Он любит философствовать. Я спросил: ага, а если в Париже бродяги под мостами живут и ни хрена не делают — так это французские Будды? А в Лондоне при Оливере Твисте жили английские Будды? Он подумал и сказал, что я прав. Мы за границу ни хрена не знаем, поэтому все, что не соответствует порядку и здравому смыслу, считаем типично русским. А на самом деле везде люди одинаковы. Хотя, конечно, африканца с эскимосом равнять нельзя.

А я себе представляю огромный аквариум. И в нем происходит кишение планктона. Планктон стремится наверх, но там всем места не хватает, поэтому эти микроорганизмы толкаются, борются, и самые сильные оказываются наверху. А послабее — под ними. Все кишат вверх-вниз и по сторонам, но чем сильнее эти микрорупки, тем более верхний слой занимают. А чем слабее, чем меньше активность — тем ниже.

И вот некоторые частички, затолканные другими, может и не очень сильно, но вдруг перестают барахтаться и толкаться и медленно осаживаются на дно. Они даже разного цвета и размера в той пестрой кутерьме, и у них общего только то, что они прекращают всякую активность. Но живые.

На дне плохо. Света мало, кислорода в воде мало, пища — отбросы жизни более здоровых частичек. Но жить можно. Наверху без большого расхода сил не выживешь — а здесь можно. Очень экономичный режим. И безопасный. Ты никому не нужен, только сильному не лезь под ноги.

И постепенно эти донные частички делаются серенькими и одинаковыми. А были очень разными, и каждая опускалась сюда из своего слоя и своим витиеватым путем — но вел путь вниз. То есть болтались по-разному, но утонули одинаково.

Человек — это винтик государственной машины: ага, гнали моей маме такую пургу, рас-

сказывала. Винтики из нашего человека, как из дерьма пуля. Не верите — полюбуйтесь на машину.

Мы свободны, но есть примечание. Свобода здесь как тюрьма: не важно, кем ты был на воле, важно, чего ты стоишь здесь и как себя поставишь.

Пьяная травма

Вот я и залетел.

Чаще всего бомж умирает в отключке. Обрубившись по пьяни или отравившись. Или ночью во сне. Особенно часов пять утра трудно пережить — мерзнешь сильнее всего в это время, и если просыпаешься — страшная тоска иногда наваливается, вплоть до паники. Легче всего смерть зимой — засыпая, словно согреваешься, а утром уже заоченел.

Мимо лежащих на улице кто не проходил. Поди понюхай — жив или так, гуляет. А если в укромной дыре окочурился — так и лежит, пока по запаху не найдут. Или крысы не сожрут, да.

Потом менты составляют протокол, и труповозка увозит в морг. Но сначала, раньше или позже, вызывают «скорую». А «скорая» бомжей ненавидит и ехать к ним не хочет. Их тоже понять можно: бухой, вшивый, воняет, поди докажи, что ты тоже человек. Где клят-

ва Гиппократ, а где зарплата. И больных до хрена.

Проснулся я от пинка, но не сумел объяснить, что уже проснулся. Со стороны — типа мычал. Да не мычал, а просил оставить в покое. Кому ж понравится от пинков в ребра просыпаться. Это я неосторожно уснул прямо на лавочке, и во сне скатился на дорожку. Маху дал. Неосмотрительно. И рядом, значит, никого из ребят не оказалось, чтоб довести куда-нибудь.

Менты нами брезгуют и руками стараются не трогать. Если кто сдохнет в ментовке — им хлопотно списывать. Они живых сбрасывают на «скорую».

Врач с фельдшерницей аж застонали, глядя на меня:

— Тварь, всю машину завоняет!.. мыть же придется... Осторожно, вшей напустит, сволочь.

А я встать не могу. На носилки они меня буквально ногами закатывали. Погрузили кое-как и повезли.

А выгружают: носилки выволокли с рамы наружу не до конца, так что только передние ручки опираются — и бах ногами на асфальт! Вставай и иди! А я не могу, хоть и встряхнуло.

Ну что. Положили в приемном. На кафельный пол. Шашечка желтая — шашечка коричневая. Сквозит в ноздри безнадежный медицинский запах, и на хрен никому не сдался. Холодно внизу-то. А вдоль стен — звери доктора Айболита: разбитая башка, заблеванный

костюм, кто явно плечо вывихнул, у кого палец явно не в ту сторону торчит, сплошные передовики производства.

Лежу, дремлю — может, полчаса, может, полдня. Подходит сестра с журналом — в каждом глазу по гестапо:

— Жив, милый? Тебя как звать? Что ж ты, дедусь, запаршивел-то так, а?

Да пошла ты, думаю.

Она положила сверху журнала листочек и по нему забормотала:

— Пневмония — нет... Цирроз печени — нет... Почечная недостаточность — нет... Алкогольное отравление — ни хрена, глаза нормальные, губы нормальные, цвет лица нормальный: оклемаешься. Пьяная травма — вот: пьяная травма. Падал? — конечно. Били? — да еще б тебя не бить.

Я этот их листочек знаю. Перечень основных причин смерти нашей. Оно им надо возиться. И чтоб мы портили им статистику выздоровлений. А пьяная травма — это нарисуют в записи какой-нибудь укол, осмотр, рентген припишут и выкинут вон.

Но. Если я не могу двигаться — меня нельзя выкинуть за ворота, а увозить меня некому и некуда. Класть меня в отделение они ни за что не станут. А если я у них тут сдохну — это морока: отписываться, вскрытие, я их дела знаю. То есть: надо от меня избавиться.

Ясное дело — они позвонили в приют. Диспансер, профилакторий, лепрозорий — хрен его знает, как он там полностью называ-

ется, городской и круглосуточный. Я еще не шевелюсь — но слышу уже отлично:

— Чего «нет мест», а у меня есть места, у кого они есть? Ну, выкинь кого-нибудь уже помытого. Кончай, это ваш контингент, вам за это платят, что вы с них вшей собираете. Да: накормите, переоденете и выкинете. У вас на это и шмотье, и жратва. А воровать меньше надо, коллеги! Ой, не луди мне мозги.

Приют

Пока часа четыре я ждал их транспорта, как-то понемногу пришел в себя. Хотел сесть, но побоялся: могут выгнать своим ходом. А приехал уже вроде и ничего.

Приютский приемник — типа тюремного. В кафельном боксе раздеваешься, суешь все одежду в черный пластиковый мешок и завязываешь. Выходит массивная ээсовка с закатанными рукавами, клешни в резиновых перчатках. Пажалте бриться. И стрижет налысо электромашинкой во всех местах. Неласково стрижет, незротично. Пальцем: «В душ».

Мыло вонюченькое и мылится плохо: дезинфекционное, значит. Теперь — кружевное белье герцогу: солдатские кальсоны-рубашка бязевые, чистые, ветхие, небывалого срока годности. Купили по дешевке у части как списанную ветошь, знаем-проходили. Пижама: костюм рабочий черный, тоже бязь, ткань про-

свечивает на лампочку. Явно списано в колонии, зековские обноски.

Так; я попал в стационар. Это я удачно зашел. Интересно, назавтра они меня выкинут или подержат немножко.

Палата — та же казарма (или камера, но просторная). Шконки в два яруса, тумбочки, табуреты вокруг двух столов по центру. Я карабкаюсь на свой верх. Простыни серые, влажные — но чистые. И я чистый. Хорошо после душа, особенно первые полгода.

... — На у-жи-ин! — будит пение сестры. Или воспитательница, или надзирательница, она же нянечка, кто они тут все есть.

Столы на четверых застелены клеенкой. На ужин дают остатки обеда, объяснили мне. Но без супа. Заведующий этим центром социальной адаптации, как их гадюшник официально звучит, явно бывший моряк: это на камбузах так жрать заведено, народ поясняет.

Шлепнули черпак тепловатой ячневой каши. Где специально учат поваров невкусно готовить, хотел бы я знать. Казенные повара знают секрет: еда себе как еда, а в глотку не лезет. Аж ручонками в гланды упирается.

Бабы тоже едят. Одеты в больничные халаты. Острижены все коротко, но не налысо. Иначе бы такие истерики были, что бабий бунт все по кочкам разнесет.

И все тут интересного возраста: лет от сорока до пятидесяти. Моложе — еще есть силы грести по жизни, а за полтинник народ свое уже отпрыгал. На кладбище ряды безымянных

могил. Придет ли кому-нибудь в голову поставить памятник Неизвестному Бомжу? А ведь это эпоха, ребята.

— Ты че здесь?

— По пьяной травме залетел.

— А я сам. Передохнуть немного. Печень не отпускает, тля.

— Они, твари, работать заставляют. Фигней заниматься. Пристройку к себе какую-то делают.

Беседа после трапезы способствует пищеварению, а как же. Чай светлый и содой пахнет. А чем ему пахнуть — островом Цейлон? Соседи мои — битые, искореженные и беспечные мужики. За что люблю нашего брата — за беспечность, нрав легкий, злобы нет.

У одного ломаный нос размазан по центру лица, его и кличут Боксер. У другого очки в желтой проволочной оправе, и хоть очки эти китайские и цена им на рынке триста рублей, а в мусорном баке попадают бесплатно, но зовут Доктором. А третий — мелкий востроносенький шплинт, рябенький, лысенький, Сява он сява и есть.

И тут — удар под дых.

— Вы где курите?

— Где-где — в звезде! Курильщик — враг народа, не знаешь?

— Фильм содержит сцены секса, насилия и табакокурения! Уберите детей от телевизоров.

— Вы чего? Что — и на лестнице нельзя? Ну а во дворе?

— Сынок, территория всех лечебных учреждений свободна от курения. Соси буй. Кстати,

ты что курить собрался? Здесь у всех все отбирают при поступлении, милый. А за ворота нельзя.

В девять вечера в спальню зашел дежурный, похожий на мента в штатском. Вы понимаете — лицо у него такое и ведет он себя так. Шуганул доминошников, скомандовал спокойной ночи и закрыл снаружи дверь на ключ.

Адаптация

Как из просто члена сделать полезного члена общества. Вот этим они тут занимаются. Хотя по-моему они посылно воруют деньги. Как везде. Кормовые, вещевые, медицинские, как там у них это по графам гоняют.

На женской половине стоит несколько швейных машинок, там строчат рукавицы и тапочки. Нормальная зона. Стены зеленые, на полу линолеум, на окнах решетки. Разговор только матом, все идеалы давно рухнули, что называется. Как услышишь — сразу рождается желание свалить отсюда. Но рано. Сами выгонят.

А нам дают бушлаты — опять же последнего срока армейские — и вдохновляют на строительство кирпичной пристройки. Ну чего, тоже нормальная зона. Никто не переламявается. Потихоньку таскают кирпичи, потихоньку крутят лопату в растворе, потихоньку кладут

и каждый ряд проверяют отвесом. Вот достроим, развалится все на хрен и завалит нашего же брата. Я первый день — смолю и к стенке становлю.

Мне Седой объяснял: есть люди, которые нормально жить и работать не могут. Психология у них такая. Они по жизни бродяги, и социальные условия не при чем. Хоть об стену разбейся — не будут они работать. Ну, как цыгане, к примеру. Я его, помню, спросил: а чего ж это мы все до поры до времени нормально работали, и совершенно никто с детства не собирался бомжевать? Он сказал: с детства в колею попали, воспитание, окружение, трудно выскочить. Но уж если бомж из нормальной колеи выскочил — хрен он туда вернется, можешь даже не стараться.

Прав он, скажу я вам. Не будет бомж работать, разве что на зоне. Кто воли распробовал — ничего больше делать не захочет.

Суп, кстати, на обед вполне съедобный. Не сильно жирный, прямо скажем, но съедобный. Единственно что — невозможно понять из чего. Типа сборной баланды. Да, припахивает половой тряпкой. Но это фирменный привкус, тут ничего не поделаешь.

А вместо ужина пригласили меня в стоматологический кабинет. Врач, как я понимаю, у них на договоре и приезжает после основной работы. Вполне милая тетка. Сдобная такая, вся очень чистая.

— Слушайте, — говорю, — я все давно проходил. Пломбы ваши вывалются через не-

делю. Зубы вы дерете на экономии наркоза. Запишите мне что хотите и отпустите с миром, а?

Ошибка в том, что я улыбаюсь женщине как крутой обаяшка, а появляется оскал на битой бомжовской харе. И это несоответствие мешает им проникнуться симпатией ко мне.

— Замолчал и открыл рот, — приказала милая тетка. — Долго мучить не буду, не трясись. Вот сюда, — потыкала зондом, — одну пломбу, и этот шпенек, — постучала зондом, — сейчас удалю.

Я могу встать и уйти, но тогда меня сразу выгонят. А я хочу передохнуть тут немного.

— Сейчас сделаю укол, не бойся, больно не будет.

Пока она сверлила, у меня правая половина губ занемела. Так что вынула она мое гнилье без малейших ощущений. Ладно, спасибо.

А наутро отвечал я на вопросы в канцелярии: где когда родился, образование, при каких обстоятельствах утерять документы. И по образцу заполнял анкету и писал заявление на паспорт и на временную справку вместо него. У них сбоку два стола, нас таких трое каракули выводили. А вот служащий этот был, канцелярист — ох же сучок, ох же и сучонок! Молоденький, лет двадцать с небольшим, щедушненький, костюмчик дешевенький, галстучек паршивенький, явно на нищую зарплату концы сводит. И спесив — аж на губах кипит! Смотрит мимо глаз, говорит в сторону, фразы не оканчивает — чтоб ты его переспросил

подобострастно, а он на тебя презрительно цыкнул. Начальник он здесь, ты понял?

— Сынок, — говорю ему ласково, — а пошел бы ты на, и в горлышко тебе, чтоб голова не болталась, а то шейка тонкая. Ты че злой — девки не дают? Так таким и не дадут, они веселых любят, а ты себя онанизмом истощаешь, верно же?

Ребята не гогочут. Ни фига меня не поддерживали. Мимо смотрят. Ну холопское семя.

А он — Вадим Сергеевич, ты понял, тля? — даже в лице не изменялся. Дверь открыл и спокойно в коридор сказал:

— Никита, здесь пациент буйный, на оскорбления перешел.

А было Никите лет за тридцать, и сложением был он кубик. Стрижка короткая, а на лице — сдерживаемая злоба. Тоже зол на жизнь свою скудную. Вообще среди социальных работников, я давно заметил, много злых людей. Я понимаю: их жизнь задолбала, зарплаты нищие, начальство сволочи, работы не продохнуть, убогаторяй шваль разную — и вот на этой швали, на нас то есть, они отыгрываются. Подальше, подальше от них, да поскорее!

Заклешил меня Никита двумя пальцами за шею сзади, под затылок, железные пальцы, и завел за уголок коридора. И там дал по затылку так, что сразу в башке зазвенело. А второй раз въехал под дых, я сложился и сел, перестал дышать.

Не потянуть мне против него, он молодой и здоровый. А дам я ему с левой раз и с правой раз (если попаду) — отметелят меня хором где надо, тут все здоровье и останется. Спишут — как два пальца об асфальт.

— Ша, — говорю, — начальник, спасибо, все понял.

Понял я, что уходить надо быстро. И без осложнений. Извинился, заполнил анкеточки, написал, подписал.

А что там еще подписал? Что в первый вторник каждого месяца буду являться на освидетельствование, а также для получения документов и устройства на работу. Они же не могут всех бомжей держать, пока на них все проверки завершатся и документы поступят. Оформляют — и отпускают. Тем более им оборачиваемость койко-мест, или как там у них, тоже нужна. Чем больше бомжей пропустят и облагодетельствуют — тем лучше работают. И больше денег осваивают, ага.

Выдали мне назавтра еще с пятерыми такими же гуманитарную одежду — вроде бывшей моей, но чистую — и пошел я на волю. Попрошался вежливо, поблагодарил, — ну их на фиг с их прихватами.

И верите ли? — вроде вышел-то в никуда, а чувство такое, что домой возвращаюсь. Собачья жизнь — это не когда ночевать негде. Собачья жизнь — это когда в любой миг тебя обидеть и нагнуть могут, и ничего ты не сделаешь.

Золотая пещера

Когда денег много, они заменяют будущее. Чего думать, и так все можно, хоть завтра, хоть через год.

Когда мой родной «А-Цюрих-инвест» пошел вверх, как дирижабль, я занялся рекламой. В московском рекламном агентстве мне за гроши сварганили ролик с известным артистом, и его крутили по центральным каналам. Мой рекламный отдел размещал объявления и в центральных газетах, и в их областных выпусках. Минула годовщина сногшибательного размаха, бизнес оу йес! — мы абонировали центральный кабак и обожрались икрой. Директора региональных филиалов получали почетные дипломы (поразительно, как взрослые люди серьезно реагируют на цветные фантики).

Я к тому времени жил с мамой в двухэтажном коттедже. Его задешево продавала вдова очередного выпавшего из окна красного директора.

Целенаправленно найденный отставной майор спецназа наладил охранную службу — братва уже подняла голову. Приглашения от мэра и губернатора лежали в кабинете на столе для писем. С деньгами небось любой дружить захочет. Решать любые вопросы было просто, такое было время. И у каждого вопроса была своя цена.

Вкладчики, пожелавшие получить свои выросшие деньги, имели их по первому требованию согласно договору; но таких дураков было

не много: прогрессивный процент налипал на первый взнос, как снежный ком..

— Надо думать, что делать дальше, — сказали мне мои консильоре, старая советская пара, юрист и бухгалтер, нанятые специально для консультаций. — Пирамида рухнет раньше или позже. Какую вы мыслите стратегию, Евгений Олегович?

Евгений Олегович — это был я. И я не мыслил, что обману всех вкладчиков и сопру их деньги. Деньги надо было срочно вкладывать в самое выгодное. Прежде всего — в торговлю. Затем — в акции самых прибыльных и надежных предприятий. Затем — в недвижимость. Это самые медленные деньги, зато и самые верные.

Дело любит профессионалов. Я нанял профессионалов: торговцев и биржевиков. С одиннадцати до часа я занимался делами, в час спускался к ланчу на первый этаж нашего особняка, потом у себя работал с документами — это обеспечивала секретарша, победившая на кастинге: университетский диплом, выдающаяся фигура и абсолютная раскованность в больших глазах. А после обеда ехал на всякие театральные конкурсы и благотворительные вечера. Я был выдающийся спонсор и меценат, никак иначе.

Тем временем на позиции выдвигались ребята с плохой реакцией, проснувшиеся гораздо позже меня, зато с большим ресурсом. Прежде всего административным. Тяжелая артиллерия вымогателей главного калибра подтягивалась.

Шакалы и гиены размером со слонов. Это наше ноу-хау. Они не умеют заработать — они отбирают то, что сделали другие.

Вот так на меня наехали проверки. Эти ладно — хватали куски на лету, как чайки. Но из общего кома выделился скучный лысоватый следователь, подполковник в штатском, бывший обэхаэсэсник. И тихо, неостановимо стал вгрызаться в печонки. Он меня ненавидел. Классовой ненавистью. За то, что денег у меня много. Мог — он бы меня расстрелял. Богатство для него равнялось преступлению. Особенно возраст мой его бесил.

— Игорь Олегович, ну давайте откровенно: ну не могли же вы в вашем возрасте за такое короткое время честно заработать такие суммы! Вот возьмем меня: мне сорок шесть лет... — И он бесконечно нудил о своей непорочной службе и достойной бедности.

Дал бы я ему денег, но меня предупредили: за взятку посадит сразу, и не мечтай.

Я уже купил универмаг, работала фирма по импорту куриных окорочков, мои акционерки ввозили итальянскую мебель и китайское барахло.

Я высокогато залетел, понял я позднее. Я не был в состоянии контролировать ситуацию — бизнес стал огромен и сложен. А люди в бизнесе абсолютно ненадежны — хоть партнеры, хоть сотрудники.

Бухгалтерия была чистой. Но следак надавил на моих директоров. И они поняли, что могут урвать хорошие куски. Дали показа-

ния — и стали быстро раскрадывать холдинг. Переписывать недвижимость и перегонять счета. Так что когда наложили арест сначала на счета, потом на имущества — все уже на три четверти мне не принадлежало. А на мне остались долги. Которые с уничтоженным бизнесом выплатить было, разумеется, невозможно.

— Десятка с конфискацией ломится, Игорь Олегович, — с непонятым укором предупредил меня мой начальник юротдела, глядя мимо глаз.

Ну что. Составили мы план ликвидации всего и выплаты долгов. Стали считать реструктуризацию. И тут звонит мне мой человек в УВД и дает понять, что ордер на мой арест скоро выпишут, дело считай решенное.

А у подъезда толпа волнуется. А в газете информация проскакивает: ожидается арест создателя очередной финансовой пирамиды, прожженного мошенника, облапошившего кучу доверчивых граждан.

Написали мы протокол собрания, ввели маму в правление, и выдал я на нее доверенность по всем сделкам. Чтоб ликвидировать все оставшееся по закону и раздать долгов сколько сможем. А сам собрался залечь пока от греха на дно.

Дно оказалось не таким, как я думал. У меня была, конечно, заначена пара лимонов грин на Кипре. Ну так оказалось, что Коля Сдорилов, мой зам, их оттуда угнал. На счете осталось семнадцать долларов сорок один цент. Вот никогда бы я на него не подумал. Мы в

военкомате вместе в армию призывались. Дурачок я был.

Оставался у меня только заранее заготовленный паспорт на другое имя. И семь штук баксов кэша. Время было лихое, путаное; а доллар был дорог. И свалил я в туман.

Сил было много, я был удачлив и знал, что скоро отыграюсь не так, так эдак.

Ларек

— Сволочи.

— Кто?

— Все!

— Любишь ты людей, Петюня.

— Люблю, пока они еще сволочами не стали.

— Замочат тебя в один прекрасный день.

Любитель недозрелых человеков. Как Бог свят макнут. Засекут — и к архангелу Петру на правилку.

— А ты не каркай. Сам в любой день ласты склеишь.

— Ты вот полюби нас черненьких, Петюнчик, беленькими-то нас каждый полюбит.

— Ва-ас — любить? Вонючие, волосатые, дряблые... тьфу, — он сплевывает. — Только дети любви заслуживают, пока они еще дети. А не сволочи.

Так дружески беседуя, мы сидели с Петюней на низенькой оградке газона и наблюдали, как сносят ларек. Два таджика в синих спецов-

ках сноровисто раздирали его гвоздодерами. С треском отлетали крашенные фанерные листы, обнажая такое маленькое и заботливо устроенное нутро с полочками и подставками.

За ларьки в нашем городе власть взялась давно. Сначала ни с того ни с чего позакрывали овощные. Те обосновались у автобусных остановок, на маршрутах «работа-домой», и светились до десяти вечера, очень удобно. Видимо, мешали крупным сетям. Закрыли к черту. А там, между прочим, чуть с одного бочка подгнившим яблочком и тому подобным разжиться можно было всегда. Они давали велик — кругом подмести, тряпку — протереть, и одаривали тем, что все равно не продашь. Она облегчает себе жизнь — и тебе заодно. Главное — быть почище, а не пугалом, чтоб не шуганули.

Заодно позакрывали шварму. Она стала негигиеничной. Это элементарно. Аренда постоянно растет, владельцы и недвижимости, и кафе заинтересованы в ликвидации конкурентов. А то она заманивала ароматом жареного мяса, низкой ценой и скоростью обслуживания. Ясен день — уничтожить.

Неожиданно оказалось, что исчезли все книжные лотки. Белинский так убивался, словно был покупателем. Вот кому они мешали, было не сразу понятно. Так а потому что подняли аренду места и налоги для всех, вот они и сдохли со своей хилой прибылью. А также приняли закон, чтоб продавать не ближе скольких-то метров от остановок обще-

ственного транспорта и публичных мест типа кинотеатров. Подальше от людей. Во избежание актов терроризма, ты понял. Вы часто слышали о терактах в связи с книжной торговлей? Ну и уконтрапунили самый читающий народ в мире. Это мне все Белинский объяснял — он мне по части книг, а я ему по части бизнеса.

Исчезли все эти китайские выкидные ножи, зонтики, дешевые очки, обувь из крашеной клеенки и прочие радости, доступные бедным людям.

Выходишь утром:

— Ой! А где здесь ларек стоял?..

— Ой! Где-где — в звезде!

Оптимизация, значит, городского пейзажа.

Между прочим, всегда можно было накалывать на горячую булочку, если невтерпеж захотелось слобой горяченькой насладиться. С корицей, с глазурью, с маком. Наслаждался? — и хватит. Хрена вам, товарищи дорогие, заместо горячей булочки — идите в «Шоколадницу» или в «Кофе-хаус». Меня там только и ждут. И выпечку аннулировали... враги народа.

Пиво и сигареты держались дольше всех. Оно понятно — рентабельность выше, выручки больше, можно платить и откупаться. Не помогло! Ишь, наемники враждебного Запада, спаивающие народ сионисты. Запретили им пиво и сигареты. И остались квадратные темные заплатки в память о киосках посреди серого истоптанного асфальта. Всем спасибо.

Цветочницы, цветочницы им чем помешали?! Ну хорошо, я цветов не ем, не пью, не курю и не нюхаю. Мне лично цветы по фигу. Тем более владельцы все азеры, нанимают наших девок и еще дерут их за ту же зарплату. Я согласен: это унижает национальную гордость великороссов (где я уже слышал это выражение?..) Но что лучше: цветы и азеры — или ни азеров ни цветов? Тем более цветы были на виду — а азеры маскировались по щелям; они кантовались в собственном кафе «Баку».

...И вот сейчас мы с Петюней смотрели, как кончают раскурочивать мороженщицу на углу Гагарина и Сквера Космонавтов. Подъехал грузовичок-«газель», и уборщики-ломастры таджики стали скидывать в кузов драные фанерные листы, штабелек брусьев, составлявших каркас конструкции, скатанный в рулон линолеум с пола и гремящие цинковые листы, бывшие только что контейнерами.

Грузовичок уехал, а таджики со своими гвоздодерами и кувалдами на плечах перешли улицу и подступили к сапожнику. То есть сапожник сам отсутствовал, естественно, и киоск его был закрыт. Зрелище погрома никакому хозяину здоровья не прибавит.

С этим бумажным домиком они вообще управились в мгновенье ока. Втык-дерг, дрын-шарах, закрипела беседочка, сложился хилый скелетик, уноси готовенького. И чем-то мне эти молоденькие смуглые ребятки в синих спецурах, довольно новых, стали напо-

минать... не то гробовщиков, не то татаро-монгольское нашествие. Пока все не снесут — не успокоятся.

Тут Петюня, извращенец хренов, делает заявление:

— А вон того, поменьше, гладенькое такое личико, я бы, пожалуй, трахнул.

— И не мечтай, — говорю. — Ты что, дурак? Это же азиаты. Они кричать и ругаться не будут, они тебя ласково сразу зарежут.

— Почему ты не олигарх, Пирамида? — лыбится он. — Ты же тупой, как валенок, все данные для карьеры. У них за невесту калым знаешь какой платить нужно? А без этого нельзя — если замуж вышла не целкой, муж должен ее зарезать и отца ее. Так что — что? Так что среди их молодежи геев больше, чем натуралов. Наш контингент!

А одет он — как сторож дурдома на День Победы. Брюки бледно-желтые в клеточку, пальто кофейное чуть ли не верблюжье, черная водолазка, и георгиевская ленточка бантом у плеча приколата. И довольно чистый, между прочим.

— Если б я был мальчик, — говорю, — я бы от тебя бежал в таком прикиде.

— Ошибаешься, дорогой. Если б ты был мальчик — вот тогда я сделал бы тебя настоящим мужчиной.

— Ага. Девочкой бы ты меня сделал. Фальцетом бы ты в церкви пел! Я бы тебе яйца откусил.

Покурили мы еще, посмотрели, как хлам, бывший только что сапожной будкой, погрузили на вернувшуюся «газель». Таджики сняли рукавицы и втиснулись в кабину. Зрелище кончилось.

Мы разошлись по своим делам, и больше я Петюню не видел. И никто его больше не видел. Прошел слухок, что один мужик пришиб педофила, пристававшего к его сыну. А труп скинул в реку, рыбы обглодали, с концами. А в таких случаях как? Прибился к берегу, позвонили ментам, для проформы написали экспертизу и зарыли на кладбище в квадрате «Ц», где хоронят неопознанных. Поставили номер и дату. Через пять лет могилу ликвидируют, подхоронят на это место другого.

Нацпредатель

Его зовут Седой, хотя вообще он лысый. Обычное дело. Все хотят быть красивыми.

Его сначала звали Диссидент. По принадлежности и речам, за которые можно сразу срок давать. Но это погоняло длинней помела. Выговорить трудно, особенно когда выпьешь. Имя должно быть кратким, чтоб — без сознания, а назвался! Пробовали сокращенно Сидя — но эта ерунда сразу всех насмешила: сидя на толчке. Тогда чуть переделали в Седя. Тоже хрень. Он сам тогда предложил: а зовите Федя. А Федя из угла голос подает:

— А я тебе кто буду — Барак Обама?

— Да, — говорим, — нам пока и одного Феде хватит. Двух не прокормить.

Он не понял, чего мы ржем, обиду начал изображать. А дело в том, что Федя вечно норовит чужое сожрать, чуть отвернешься. А морду ему бить трудно, он здоровый. И бешеный. Но полезный — от чужих всегда отмахает.

А у этого лысина блестит — как елочный шар. Алена на нее глазела, как под гипнозом. И невпопад спрашивает:

— Где это ты такой красивой сединой обзавелся?

Все как грохнули! И стал наш диссидент Седым.

Мы считаем, что Пентагон должен платить Седому зарплату. Потому что он подрывает любовь к России каждой брызгой слюны из болтливой пасти. Веру, надежду и любовь — все подрывает разом. Я, скажем, по сравнению с ним — просто Маяковский. Я когда его слышу, просто хочу достать из широких штанов. Таких людей надо посылать на Селигер, чтобы они личным примером возбуждали ненависть к оппозиции.

С Диссидентом, то есть Седым, мы познакомились, когда в городе был митинг против поселка цыган-наркоторговцев. Они там шикарно отстроились, а вся молодежь к ним за наркотой ходит, и прямо в своих школах тоже торгуют. И курят, и ширяются, и все дела.

И митинг, как полагается, сначала скандировал типа «Спасите наших детей», потом «Долой взятки», а потом уже можно было квалифицировать как призывы к насильственному свержению законной власти и пропаганду экстремизма и национальной розни. Типа долой мэра, начальника полиции в тюрьму, черножопых пожечь и тому подобное. Народ за демократию, одним словом. Мэра им подайте. Сейчас. Специально для вас его и растили.

Потом, естественно, пришли марсиане. Звездные войны. Они страшно гордятся, что им тоже, как в телевизоре, выдали все эти штитки, шлемы с забралами, прозрачные щиты, ну а дубинки у них были с самого начала демократии. Демократизаторы. И дали сеанс звездных войн. Звезды из глаз полетели. Дубинками по головам и по почкам. Да так бодро, так напористо, с азартом — прямо загляденье! Хорошая это работа — дубасить толпу за зарплату. Для блага отечества, опять же.

Мне иногда тоже хочется всех отдубасить. Даже бесплатно. Согласен приплатить. Иную морду увидишь — все бы на свете отдал, чтоб по ней врезать.

И ни в коем случае нельзя давать нашему народу оружие! Сначала он перестреляет милицию, полицию, как их всех, а потом власть. А потом власть кончится, и народ примется друг за друга. Перестреляют бандитов, наркоторговцев, таможенников, хренову тучу всевозможных охранников, олигархов перестреляют любой ценой, и возьмутся за регистратуры по-

ликлинник, за чеченцев, таджиков, за рыночных торговцев, если цены высокие — а у кого они низкие?

Но тут оружия, слава те господи, ни у кого не оказалось, конечно, хоть может и зря, и всех отмолотили за милую душу и отпустили разбежаться. Здоровье восстанавливать. Одно зло от этих наркотиков, и от борьбы с ними тоже.

А один там громче всех разорвался. Голос такой пронзительный и въедливый — сквозь шум сверлит. Типа доколе власть будет брать взятки и травить нас исламским героином и кремлевским кодеином. Первый раз он получил дубинкой по затылку — так что шапка улетела, а второй — по почкам. И заковылял себе прочь, как смесь чахотки с геморроем — икает и за поясницу держится. Подбили Лумумбу.

А мы с Федей в сторонке смотрели. Про Федино хобби сказать надо. Он постоянно мечтает дать в рыло менту. Обида у него на них. А кувалда у него — мама не горюй. Он если увидит одинокого мента — сразу глаза горят, нос по ветру, колени пружинят, и занимает позицию, как бы у него на пути оказаться. Заранее прицелится, и с замахом из-за спины — бах! — и в челюсть. Мент копытами кверху. Уличный мент ведь в основном мелкий, жирный, только властью давит. А Федя сразу розовеет, расправляется, глаза блестят — ну добрый молодец, только от помойки отмыть надо. И деру, пока тот в себя приходит.

Вот тот подбитый доходит до нас, качаясь, и начинает падать буквально Феде на руки. Ну — подхватили. По прихватам — свой брат бич: драный, тертый, обтерханый. Общий вид — будто нищий на свадьбу собрался: что-то брито, что-то мыто, что-то застегнуто, и все с помойки. Интеллигент сэконд-хэнд.

Мы его приволокли к себе, уложили. На затылок мокрый компресс положили, поясницу шалью обвязали. (Он потом долго кровью ссал, но прошло.) Он оклемался — и включил свою разрушительную деятельность:

— Садистские наклонности! Русское зверство! Холопье семя, рабы и потомки рабов! Кровавое чека! Испепелить все дотла!

Мы сразу успокоились — значит, труп ночью куда тащить не надо. Злой — значит жилец. Но этот просто отборный какой-то оказался, элитный. Его на цепь сажать можно и к пограничному столбу привязывать — хрен кто в Россию въедет, все передумают. Никакой нелегальной миграции.

— Жлобы, жлобский народ! Пока их угнетают — они плачут, а дадут дышать — они тут же угнетают других! Все дерьмо всплывает наверх, все золото тонет внизу! Чаадаев, великий Чаадаев — гений, вот наш великий национальный гений!

Ишь ты. Чаадаев. Ученый. Иван Иванович. Ну, пусть поживет. С такими интересно.

Мы ему сначала пить не давали. С отбитыми почками нельзя. После закрытия на рынке, ящики всегда свалены у ворот, бананчик не

сильно темный ему искали — лучшая диетическая пища, хорошо что их теперь до фи́га ввозят. А уж он развлекал!

Если по его рассказам составить биографию — это просто революционная фабрика Клары Цеткин. Он сидел на мордовской зоне за распространение свободной антисоветской литературы. Потом в 91-м стоял в толпе у Белого Дома. (Народ мрет, но защитников Белого Дома все прибавляется.) Потом был в демократической партии, точное название которой всегда путал. Руководил чем-то, писал в газеты и выступал по радио.

— А когда пришел этот кровавый гэбист, мне Лера сразу сказала: «Пусть сдохнет этот проклятый народ, если он не способен воспользоваться демократией и голосует за палачей!»

— Какая Лера?

— Какая? Новодворская. Валерия. Слышал, я думаю?

— Н-ну... Это такая, еще показывали...

— Ну толстая такая, в очках, всем в глаза правду резала! Да она когда-то из телевизора не вылезала.

— Парень, она не вылезала, а мы туда не влезали.

— Так а ты с ней чего... знал, что ли?

— Знал?.. Да мы с ней и с Костей Боровым все либеральное движение в девяностые годы создали!

Борового я помнил. Он на бирже гениально подпрыгнул. И русский флаг километровый создал — по улицам несли. Но этот тут —

нормально свистит; ладно. Кайф сломал человеку — все равно что в душу плюнул.

— Я Гайдару еще в девяносто третьем говорил: Егор, ты че воротишь? Народ же обнищает! А он — как же, из номенклатурной семьи, че он в жизни видел. Вот и раздали страну бандитам за чиновничьи взятки.

Этот тезис у нас встречает понимание во всех слоях общества. У всех все отобрать и поделить. Но Седой чем отличается? Ему все поперек. Он оппозиционер по жизни. Если завтра объявят коммунизм — он тут же окажется убежденным борцом за капитализм. В системе сдержек и противовесов он противовес всему.

— Хотел Явлинский укоротить монополистов, чтоб у всех людей была собственность — так сын на рояле играл, его похитили и пальцы переломали, один отрезали и Грише с запиской: «Не уйдешь из политики — пришлем голову». Ну что — он и ушел из политики.

— И че?

— Вернули. И сыновей он в Лондон отправил подальше. И затихарился.

— Кто это сделал, интересно?

— Кто. Фашисты!

— А на хрен нашим фашистам Явлинский?

— А ты вообще где живешь?

— Где и ты. Здесь я живу.

— Ты живешь в фашистском государстве!

— Ну, эт-ты все же загнул. Менты, олигархи, да. А фашистов власть сама гоняет, ну, иногда, так их и не видно.

— Дурашки вы бедные... Не видно ему. ФСБ тебе кто?

— Мне лично ФСБ никто.

— Ошибаешься. Это ты ей никто.

И тут наш Седой впервые (при нас) оседлал своего конька, конька-горбунка, сивку-бурку, клячу с живодерни:

— Сразу после Октябрьской революции — тут же! — создали ЧК: чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И Железный Феликс взялся за врагов революции. Не выполняешь приказы этих самозванцев? — расстрел. Не сдаешь все сбережения их власти? — расстрел. Не сдал оружие? — расстрел. А главное: социально чуждый? — расстрел! Офицеры, все образованные люди, студенты, да машинистки даже, не говоря о священниках, — врагами были объявлены! А Ленин — телеграммы: «И побольше расстреливать без этой дугацкой волокиты!».

Крестьян расстреливали за неспасение хлеба — всего, задаром, власть объявила продналог. В одном только Крыму расстреляли шестьдесят тысяч человек — всех сдавшихся офицеров, юнкеров, студентов. Одесская ЧК — десятки тысяч трупов. Расказачивание — миллион человек уничтожили. Всю Гражданскую войну никто не сосчитает — может, пятнадцать миллионов погибло, но не меньше пяти точно.

Голод в Поволжье — сдыхай на месте, в города не пускали. Минимум полтора миллиона человек. Голодомор на Украине и в Казахстане — минимум миллионов семь. А раскулачи-

вание!! Сталин назвал Черчиллю цифру десять миллионов человек, а Молотов в старости журналистам — двадцать!

В одном только тридцать седьмом расстреляли семьсот тысяч. На одной только Колыме погибли в лагерях семьсот тысяч. А Дубровлаг, Норильск, Воркута Особстрой, Главслюда? Это ж сколько миллионов — десятков миллионов своих граждан, ни в чем не повинных людей, уничтожило наше родное ЧК — ГПУ — НКВД — КГБ? А ФСБ им наследует — те же здания, те же архивы, те же кадры опыт передавали. Да никакое гестапо, никакие фашисты не уничтожили столько своих — своих, родных, собственных, ни в чем не повинных людей.

— А «Семнадцать мгновений весны»? «Щит и меч»?

— ПГУ, разведка — святое, любое государство обязано. Так же, как «девятка» — охранять высших лиц государства должны везде. Но главное-то назначение, для чего создавали, чего больше всего наворотили — это уничтожение своих. В СС тоже, знаешь, не все службы расстрелами и концлагерями занимались. Так нацистские организации объявили преступными, массу людей судили. А у нас — хоть одного палача, хоть одного расстрельщика судили? Хрен тебе!

Да на чекисте больше крови, чем на гестаповце! А он свой праздник по телевизору отмечает!

— Ты погоди, Сталин когда умер?

— В пятьдесят третьем, и что?

— Так с тех пор ведь ни расстрелов, ни лагерей. Ну, политических. Так чего ты пургу метешь. Мы что, выходит, фашисты, что ли? Все расстрельщики давно перемерли.

— Ага, на заслуженном отдыхе с почетными пенсиями. Странные вы ребята. Символика осталась, гордость сотрудников своей конторой осталась, и никто не стыдится называть себя чекистом — гордятся! Вот этого я не понимаю. Расстрелами священников и офицеров гордятся? Арестами ученых гордятся? Значит, гордятся фашистской конторой.

— Стой. Ты еще скажи, что если у нас чекисты у власти, так у нас фашистское государство.

— Не скажу. Ты сам сказал.

— Да они бабло скирдуют!

— А фашист не обязан быть бедным. Бедными обязаны быть мы здесь.

— Да брось, Седой. Ну ты ж все равно ни при какой власти работать не будешь. И я не буду. А что, в Америке бомжей нет? Есть.

Седой задумался насчет Америки. Все заржали. Да пошли они все на хрен с их проблемами. Пусть правит кто хочет. Добра все равно не выйдет. Знаем, пробовали.

Русский Робин Гуд

Товарищ, сказала старуха, товарищ, от этих дел я хочу повеситься. Эту фразу мне любил повторять мой главбух, Юлий Маркович, ког-

да запахло керосином, и он ставил подписи на актах. Кажется, это Достоевский.

Никто из литературных героев никогда не был мне так близок, как эта старуха. Разве что граф Монте-Кристо. Но он сумел сохранить свое сокровище, причем тайное. Месть — дорогое удовольствие.

А что бы сделал сейчас я, если бы вдруг свалился мне миллиард? Я бы спокойно, осторожно, постепенно наладил контакт с частным сыскным агентством. Установил бы... да всего-то человек восемь, не больше ведь! Следователя, прокурора и судью, кто сажали маму. Начальника колонии, где она сидела, начальника режима и начальника отряда. Подполковника-змея, который меня живьем сожрать пытался. Его начальника УВД по борьбе с экономическими преступлениями. Так, еще пять сук из службы судебных приставов тоже свое заслужили. Преступный приказ не оправдывает его выполнение. Так. Это сколько? Три... плюс три... плюс два — восемь. Плюс пять — тринадцать. И уж первыми — Швеца и Бабакина, милых друзей-партнеров, стервятников подлых, которые тут же отреклись и стали растаскивать мои деньги, пользуясь возможностями. Пятнадцать. Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома!

Смех один. Пятнадцать рыл. По десятке на нос — за полтора ста штук мне уберут их всех. Ярд даже не шелохнется. А по стошке? Чтоб привезли в бетонный бункер под моим коттеджем — и кончать я буду каждого сам. Не в

том ведь дело, чтоб он исчез. Он должен осознать, что он умирает. И главное — за что, и от кого. Прочувствовать. В ужасе поколотиться. Ничтожество свое принять должен, поражение, возмездие. Это ведь не бизнес, где убрать конкурента — ничего личного, просто деловая мера. Не-ет — это высшая справедливость.

На личную жизнь мне бы и полста лимонов вполне хватило. Дом, пара машин, человек шесть прислуги-охраны — остальное в хорошие бумаги и на Виргинские острова, пусть дивиденды каплют, их достаточно. А девятьсот пятьдесят — на дело. Я бы открыл агентство по наведению справедливости. И никто б на меня с таким баблом не наехал, если его не светить по-глупому.

Приходят ко мне с жалобой на наглого вымогателя-дэпээсника — и завтра он у меня вместо «документы на машину, пожалуйста» получает пулю из окошка. А вторую — корэфан его, который рядом в машине сидит.

Обманутые дольщики, говорите? И утром владелец этой милой фирмы висит на перилах своего балкона. А что это у него пальцев на руках не хватает? А это он прежде, чем повиснуть, сообщил номера всех счетов и отправил распоряжения — куда эти бабки сумасшедшие перевести.

Оборотни в погонах. Ну, в погонах так в погонах. Приколотить их гвоздями к плечам, чтоб лучше держались. Только начать с начальника. Райотдела, горотдела, облотдела.

Тоже мне, проблема — наркотики. Объявить наркоторговцев вне закона. Всего и делов. И родители наркоманов назавтра же их всех пришибут. Заставят самих сожрать весь порошок и вколоть себе все запасы. Дома сжечь, семьям — час на выселение, чтоб их здесь больше никто не видел. И когда озверевшая толпа будет выжигать эту чуму каленым железом — чтоб ни одного мента и близко не было! Под личную ответственность городского начальства. Которых иначе завтра взорвут в их «мерседесах» или засадят в окно из «шмеля».

Таможенники. Слыхали, знаем. Один факт взятки — таможенника пристрелить прямо в терминале, имущество всей родни конфисковать немедленно и свезти в ближайший детский дом. Такие примеры страшно вдохновляют окружающих на честную жизнь!

О — нелегальные мигранты. Всем срок — зарабатывать на обратный билет. Два года зоны — отлично заработают. Поезд, опознавательная татуировка на руку — счастливый путь. А вот с гадов, которые их нанимают за гроши вместо своих, чтоб нормальные деньги не платить — штраф. Штрафик. Девяносто процентов сбережений и рыночной стоимости имущества всей родни. Плюс десять лет условно. Повторил — пожалте к хозяину под крылышко. Как там? — телогреечку, и вперед на лесосеку, в солнечный Коми!

Закон нужен! Не много — но десятков главных законов, чтоб полстраны-то не перестре-

лять. А то опыты такие ставились — а результат налицо. И так это лицо на задницу похоже — хоть учебник анатомии переписывай.

Минимальная нормальная заработная плата. Смертная казнь злостным убийцам, педофилам и наркоторговцам. А также за воровство в особо крупных размерах. Миллион долларов — это крупный размер? Вот и к стенке. Люди в больницах без лекарств мрут, денег нет, — так что ты не вор, дяденька, ты людей убиваешь. И выбирать во власть своих мужиков, честных и уважаемых, способных, а не эта показуха лживая с жуликами из «Единой России»! Организовал фальсификацию — прими горяченькую в лоб. Потому что ты совершил акт государственной измены — нарушил конституцию и узурпировал в корыстных целях право народа выбирать себе власть. (Эх, а ведь я бы мог по трезвянке в газеты писать, а?)

Законы на все это нужны! Законы... Да-а, гадов из Думы за один ярд чохом не купишь. Запугать — шлепнуть пяток главных? ФСБ найдет. Там не один ярд на дела имеется, и людей до фига, и спецтехники. А что делать?..

Эдак у нас всплывает фигура Путина. Н-ну — предположим, не будет ни его, ни группы близких. А кто будет?

Что за чертова страна... Ты перестреляешь одних — а на их место вылезают такие же другие. Только самому быть диктатором! Справедливым царем — добрым, но строгим. А тут, братцы мои товарищи, ярдом не обойдешься...

Вот они, суки многоярдовые, и валят все в

Лондон и в Ниццу. Тоже не верят в Россию. В свою страну, которая их вскормила и которую они сосут как вампиры-электронасосы — не верят они в родину, умные сволочи. В Америку все хотят, жен туда рожать отправляют, чтоб дети американское гражданство имели.

Если дочка Сталина! И сын Хрущева! Свадили в Штаты! То как же мы можем победить? А мелких гадов убивать — кровь впустую проливать.

Так что нет, ребята. Ограничусь я своими пятнадцатью личными врагами. Их замочу железно. А до остальных — какое мне дело до вас до всех, а вам до меня. И свалю тоже со своим ярдом за бугор. В Америке буду жить. Она большая. Куплю хорошую машину и буду по ней колесить, а ночевать в лучших отелях. И в койку — лучших девок по телефону. С хорошего питания — еще как стоять будет.

В конце концов, граф Монте-Кристо не устраивал ведь революцию во Франции. Решил свои проблемы — и адью месье, нас ждут иные сказочные края.

А на несколько лимонов — да хоть на сотню — я построю люксовый пансион для ребят. Мест на пятьдесят, я и столько не знаю близко-то. Отдельные комнаты, белье, трехразовое питание, медицинский пункт, стоматолог, нарколог. И найду верного человека следить — чтоб не разворовали.

Где я найду в России такого человека?..

И кто мне даст миллиард? Я что — Сечин, или Дерипаска?

Я вам скажу, что бы я сделал, если бы точно знал день своей смерти. Я бы обдумал, кто из моих врагов самый подлый и причинил мне больше всего зла. Заранее бы его нашел, изучил все его маршруты. Денег бы хоть поднакопил как-то, хоть украл, хоть что. Привел бы себя в человеческий вид, чтоб из толпы не выделяться. И накануне дня смерти убил бы его. Ножом.

А почему же я раньше-то этого не сделаю, мне ведь жизнь все равно не дорога нисколько, одно мучение!.. Сдохну в камере или на помойке — какая хрен разница? Вот чеченец-то на моем месте давно бы убил кого мог, и правильно бы сделал, и жизнь для него была бы дело второе.

Тварь дрожащая. Не в том дело, что право имеешь, а в том, что тварь дрожащая. У твари прав нет. А и есть — так отнимут. Здесь, на дне, все твари дрожащие. Мы потому свободны, что из людского общества в осадок на дно выпали. Нас уже почти нет в этой жизни. Мы уже одной ногой в той.

Так ведь и вы же, которые нас выкинули, которые из нас силы высосали, обобрали, надругались, — вы тоже ведь твари дрожащие. Всего боитесь, перед силой пресмыкаетесь, перед подлостью молчите, кусок свой жалкий в трудах зарабатываете.

Счастливы только сильные и храбрые. А сильные и храбрые в России только бандиты и воры.

Еще, правда, святые. Но их ведь сначала еще заморить надо.

Деклассирование Вертера

Актер на пустыре повесился.

Строго говоря, он повесился не на пустыре, а на том же корпусе, в котором мы ночевали вчетвером, только снаружи. Там торчат разные штыри и торцы балок из стены этого цеха, вот он нашел веревку и на таком штыре повесился. Рядом ржавая бочка валялась, видно он ее подкатил, поставил на попа, а потом влез и оттолкнул ногой.

Теперь валить надо, пока всех не замели. Из автомата потом в ментовку позвоним. Увезут и спишут. Потом помянем.

Цех пустой, станки сто лет как увезли на металлолом, пол цементный выщерблен, окна выбиты, холод. Но конторка в углу, выгородка такая фанерная с крышей, сохранилась, не сожгли как-то. Вот если насобирать тряпок и картонных коробок и закрыть по возможности это ее огромное решетчатое окошко, закрепить эту всячину железячками в щели перегородки, и дверь тоже завесить чем можно, то там делается тепло. Ребята ее и обжили. Иногда там вечером прямо клуб: огонек, люди, разговор. Я там иногда оставался у них ночевать, если вечером выпьем, и к себе на трубы идти уже поздно, ночь, или дождь там, и вообще.

Вот вечером выпивали и базарили. Вонь поднялась — Горшок опять обгадился. Выкинули мы его вон: мой свой зад долбаный где хочешь, и штаны меняй как хочешь, люди си-

дят по-человечески, а ты где жрешь, там и срьшь.

Синяк говорит:

— Был бы я мусульманин — убил бы тебя на хрен. А потому что ты свинья, а свинья животное поганое. Вот они молодцы, муслимы, поэтому их все больше. Потому что режут кого надо.

Ну, прогнали. Сидим. А Актер говорит:

— Ислам пить запрещает. Его трудно выдержать.

Еще помолчал и говорит:

— Не был бы я дурак — давно бы ислам принял. И уехал к черту... в Исламабад. Или в Египет — там хорошо.

— И чего тебе дураку там хорошо? Тепло, правда. Зато пить ведь запрещено! И кругом одна нищета, арабы, одним словом.

— И отлично. Во-первых, я бы не пил.

— А если б выпил?

— А расстреляли бы, и слава Богу. На хрен такая долбаная жизнь. А вообще если за это расстрел, то пить не будешь.

— Знаешь, если расстрел под вопросом, а выпить под носом — хрен устоишь!

— А главное, — продолжал Актер печально, следуя собственным мыслям, — по шариату нормально иметь четыре жены. Можно одну, но четыре нормальнее. Уважают тебя больше.

Так. Продолжение я уже знаю. Проходили. Он у нас несчастный влюбленный. Задоставал всех своей неземной любовью и тем, какая она сука.

— Дурак ты, — говорю, — и мечты твои дурацкие. Убил бы ты ее, сдался с повинной, получил восемь, вышел через шесть по УДО, и ходил бы на ее могилку цветы носить. Тебе бы еще сочувствовали и уважали за такую страсть.

— Да, — соглашается он, — мы два сезона «Кармен» играли, в районы ездили, в три области. Я — Хосе, она — Кармен. И всегда я думал: вот всажу ей прямо на сцене нож в бок, поцелую, встану над ней, бездыханной, на колени; а ночью в камере повешусь.

Свистит все, как сивый мерин! Мы давно знаем неромантическую правду, суровую прозу жизни нашего бухого товарища. Он где-то в районном театре был типа подметалой. Шаги за сценой. Декорации двигать в антракте.

Что делают театральные рабочие? Они пьют. Вот их главное дело. Что вообще все делают в театре? Пьют. Играют — иногда. А пьют — всегда.

— Артисту надо снять нервное напряжение! Он играет душой! На разрыв сердца! — надменно декламировал Актер. — Это не ваше пустое пьянство никчемных людишек! (Из него иногда обрывки ролей выскакивают — наслушался из-за кулис.)

— Дать ему в чан? — спросил Синяк.

Но нам скучно, и мы еще раз слушаем душераздирающую театральную мелодраму.

Она, чье имя не будет названо, ибо оно широко известно сегодня, была в юности неслыханной красавицей. У нее были белокурые

волосы, голубые глаза, точеная фигурка и живой насмешливый нрав. А Актер учился с ней в одном классе, и даже один год, в шестом классе, они сидели за одной партой. И он давал ей списывать контрольные, потому что хорошо учился. Носил за ней портфель и дрался из-за нее.

А на выпускном вечере они признались друг другу в любви, и впервые поцеловались. И поклялись принадлежать только друг другу. Вот такие бывают девушки на свете.

И она уехала в Москву поступать в театральный институт. А он ушел в армию. И писал ей письма каждый день, в любых условиях.

А когда он пришел из армии, оказалось, что она его не дождалась и вышла замуж за одного знаменитого режиссера, в два раза старше ее, тот развелся из-за нее с третьей женой. И она написала, что просить ее простить, но раньше было просто школьное увлечение.

Но он устоял на ногах и сжал зубы. Он написал, что прощает ей все, но все равно она будет принадлежать ему. И тогда он наметил цель своей жизни. И железной походкой двинулся к ней.

Он поехал в Москву и поступил в тот же театральный институт, тоже на актерское отделение, в класс Михаила Ромма, а это был лучший театральный педагог в мире, ученик самого Станиславского. У него оказался талант, его стали приглашать на кинопробы. В конце

концов его возлюбленная согласилась поужинать с ним в самом знаменитом в Москве ресторане «Националь», а он заранее снял люкс в гостинице над рестораном, и они провели ночь любви. И утром она плакала и умоляла простить ее за режиссера, а любила она всегда только его.

Негодяй со связями, знаменитый режиссер, добился отчисления из института их обоих. Но они ни о чем не жалели. Они рука об руку вернулись в родной город, и их тут же взяли на первые роли в городской театр. И дали лучшие роли — таким актерам, с такой школой, из лучшего института в стране! И дали двухкомнатную квартиру. И они были счастливы.

А через полгода она изменила ему с итальянским тенором. Это был оперный певец из театра «Ла Скала», и она не устояла. И тогда он впервые ударил любимую по лицу, она рыдала и валялась в ногах. А через год оказалось, что она любовница губернатора.

Бороться с этим оказалось невозможно. Она была красавица, она была прима, ее все добивались, и она давала всем самым видным и крутым. Ангел оказался демоном. Деньги и слава растлили ее.

А он все терпел. Она перестала его жалеть, стала им тяготиться, насмехалась над ним. Он терпел, умолял ее; он стал пить. Несколько раз он избивал ее, только чтоб не по лицу. И она сносила это молча и говорила, что он имеет на это право.

Она перестала с ним спать. Стала презирать. Говорила, что он тряпка. А он не мог без нее жить.

Он прикасался к ней только на сцене, и публика аплодировала его страсти и отчаянью и ее стыдливости и внутренним терзаниям.

Наконец, он застал ее с очередным любовником прямо в квартире, в супружеской постели. И понял, что больше не может оставаться в этом доме. И не может ее видеть. И никогда уже не переступил порог этого театра. Все в душе выгорело и обрушилось. Все кругом сделалось для него нереальным. Он ушел из дома в чем был и всю ночь бродил по пустынным улицам.

А наутро продал ювелиру на базаре свое обручальное кольцо и купил водки. Потом он продал часы, ну и так далее. Стал бездомным, отверженным всеми, нищим пьяницей.

А ее он все равно не может забыть и продолжает любить. И он только хочет скорее умереть и на небе дожидаться любимой, потому что там, в том мире, есть справедливость, и любовь, и счастье, и верность.

Но Синяк — человек циничный. Он понимает, что скоро сохнет, и поэтому всех в глубине души ненавидит. Жестокий он, не люблю я его.

— Кому ты бейцы крутишь, Ромео, — заржал он: с подлинкой гнусенькой заржал. — Все пацаны давно знают: не учился ты ни в какой Москве, не играл никаких ролей, не был женат ни на какой красавице! Ты так —

огрызок, рабочий сцены или как там это в театре. Ну, стал вольным человеком, ну, стал по-мойщиком, что ты все понты кидаешь, тебе че, десять лет? Тут че, проституток мало видели, хоть красивых, хоть нет?

Тут Актер с удивительной сноровкой дает Синяку в глаз. Прямо через костерок, сидя. И тот катится вверх тормашками.

— Ладно, — говорит Актер, как трезвый. — Ни в любовь, ни в верность, ни в чистоту никто сейчас не верит. Особенно вы, крысы по-мойные. Тогда слушайте, гады, и больше вы меня не услышите.

Я и в прежней жизни был говно, и в молодости был говно. Вот такой родился. Урод. Морда поганая, сам слабый, из рук все валится. И в школе был двоечником, и во дворе мне пенделей давали. И в старших классах стали пацаны с девочками ходить, а на меня-то кто посмотрит. Да у меня и смелости не хватало подойти и предложить там погулять или чего. Кто с таким пойдет, чего на издевку нарываться. И денег у предков не было, чтоб хоть прикинуться нормально. Батя бухал... ну, как положено.

А в армию меня взяли в стройбат, и на вторую ночь, в учебке, чурки меня трахнули. Они старшине деньги отдавали, посылки отдавали, он их покрывал. После учебки только, когда по частям раскидывали, попал я на Север, там из нашей роты никого не было, так хоть жить можно было.

А после дембеля вернулся — куда идти?

Даже на стройку подручным и то места заняты. А тут батя помер. Пришел выпивший, лег и утром не проснулся. Хоронить надо.

С работы тоже его пришли. А он в театре нашем работал. Рабочим сцены. На поминки поехали к нам после кладбища из них тоже несколько человек. Слова, как положено, помянули. А мать к ним подкатилась — сына, значит, не возьмете на место отца? Он же у вас столько лет проработал.

Короче, взяли меня на это место. Работа не бей лежачего. Но скучно — они старики все, четыре человека еще. Плюс плотник, пожарный, вахтерши-старухи.

А она... в общем... актриса. Молодая. Довольно так ничего. Как-то проходит мимо за кулисами — посмотрела так: «Вы здесь работаете? Недавно? А я раньше вас не видела».

И — все. Запал я. Глаза ее серые как вспомню, голос как услышу — и думать больше ни о чем не могу.

А как ухаживать? С моими-то данными? Хоть внешность, хоть образование, хоть по деньгам.

С полочки купил ей букет и вручил. А она засмеялась: «Так ведь сейчас не после спектакля», — говорит. Но вот стали мы с ней иногда при встречах разговаривать. А что разговаривать? Она скажет что-нибудь, а я мычу и головой киваю. А сам спектакли стал слушать. Учиться красиво разговаривать, как у актеров по роли. Н-ну... преуспел не сильно... и тем более не сразу.

Узнал, когда у нее день рождения. И заранее с полочки купил ей «Шанель». Ну, я знал, чего на рынке купил, за эти деньги — польская подделка, но настоящую мне не потянуть было, да и в магазине не было.

А у них-то, артистов, тоже зарплаты не очень. Откуда она разберет, что там. А если и разберет — ну, подумает, что меня обманули: время такое, все всех обманывают.

Ребята надо мной уже посмеиваются. Влюбился. Советы подают. Мол, эти актеры, они прямо в примерках трахаются. А я про это и знать ничего не хочу.

— Они правда там трахаются? — спросил вернувшийся Горшок.

— Да они щас минет прямо на сцене делают, — сказал Синяк.

— Всем заткнуться. Пусть говорит, — велел Федя, проснувшись.

— А чего говорить. Это чуть не год продолжалось. Она в общежитии жила, в многосемейке в комнате, я ее стал ждать через улицу и на репетиции провожал. Но не слишком часто, чтоб не надоедать. А после спектаклей они вместе все уходили и уже потом расходились по улицам, куда же мне.

Короче, понял я, что как ни верти — а все одно говорить ей все надо. И вот однажды в перерыве репетиции подошел к ней так, отошел в сторонку, и все сказал.

— Чего сказал-то?

— Ну чего тут говорят? Что люблю. Жить без ее не могу. Понимаю, что ее не стою. Но

прошу выйти за меня замуж. Буду преодолевать любые трудности. На руках ее носить. В бизнес пойду, поднимусь. Она еще сможет мной гордиться. О детях мечтаю. Буду хорошим отцом.

— Засмеялась, наверное, точно?

— Дурак ты... Она погрустнела так, посмотрела на меня... это мало у кого такое счастье — чтоб любимая женщина на него вот так посмотрела, после этого и умирать можно. Было это, был этот ее взгляд! А потом взяла меня за руку — сама взяла, в первый раз, это представляете! — и сама назначила мне свидание. Я ничего не соображал от счастья, не верилось, и только гордился собой: что я чего-то стою, да еще ого-го, и как я умно поступил и характера мне хватило, что сам ей раньше даже не пытался свидание назначить! А вот теперь она сама мне первая свидание назначает, после того как я ей в любви объяснился и замуж предложил. Так-то!

Я наодалживал у ребят и по соседям: джинсы модельные «Прожект», куртку из тонкой кожи, свитер кашемировый, кроссовки новые «Адидас» — и часы «Ролекс», гонконгская штамповка, но кто за метр различит.

Днем в кафе пусто, я пришел с цветами, заказал кофе, пирожных и бутылку шампанского. Душа — летает!

А она положила свои тонкие пальчики на мою руку и говорит:

— Толя, простите меня, вы хороший чело-

век, и я скажу вам прямо. Я не могу выйти за вас замуж.

Я — ничего не понимаю. Что значит — «не могу»? В каком смысле? Какое у нее тайное препятствие? Она уже замужем, что ли? Так я бы уже знал, не может быть.

— Почему же это? — спрашиваю я очень по-доброму. Типа утешаю — ничего, разберемся.

— Потому что я не смогу вас полюбить.

— Почему же это? — стараюсь я убедить, что все будет хорошо. Меня уже несет, я уже привык к мысли, что все у нас будет.

— Господи, ну как вам сказать: ну потому что как мужчина вы мне не нравитесь.

— Почему же это? — Я уже как идиот, меня заклинило.

— Ну я же не виновата, правда? Потому что мне нравятся другие, потому что вы не в моем вкусе, потому что меня к вам не тянет, ну что ж поделаешь...

— А если потянет?

— Не хочу я зря подавать вам надежду. Девушек на свете много, ну что во мне такого особенного.

Дальше я уже ничего не слышал и не понимал. Она чокнулась с моим бокалом, отпила шампанского и ушла, оставив цветы на столе.

Я сосчитал все свои деньги и взял бутылку французского коньяка «Мартель». Я хотел пить самое лучшее. Это была моя свадьба.

Я пил маленькими рюмками, бокал я отдал обратно. Я выпил за ее счастье, потом за ее

здоровье, потом за ее будущего мужа, чтоб она была с ним счастлива. Выпил за ее будущих детей. Выпил за всю ее долгую прекрасную жизнь и за счастливую старость.

А потом выпил за нашу свадьбу, которой не будет, за ее белое платье, которое я уже придумал, и за первую брачную ночь, которой никогда не будет, и за наших с ней детей, которых тоже никогда не будет. Я мысленно все время говорил ей тосты, и разговаривал с букетом, который официантка поставила а вазу на столике — это все, что мне от нее осталось, она держала его в руках, касалась его.

Я понял, что никогда не вернусь в этот театр, и никогда больше не смогу жить в этом городе, где она может мне встретиться, а это очень страшно и очень больно, я не смогу перенести.

— А дальше-то что?

— А что дальше. Встал и пошел куда глаза глядят выпить еще.

— Выпил?

— А вот до сих пор и пью.

Объяснение в ненависти

Я ненавижу эту страну. Я устал от нее. Силы кончились. Ненавижу ее рабство, ее воровство, ее хамство, ее наглую ложь, ее лицемерие и самолюбование. Никогда не знаешь, когда она устроит тебе подломаку. Не будет здесь добра.

Да — она сломала мне хребет. Да — я больше ни во что не верю. Да — я отброс общества. И отбросами питаюсь. За что же ты меня отбросила, родина-мать, сука поганая бессердечная? Я же был хорошим. Я любил маму, и ходил в школу, и служил в армии, и создал свое дело, и хотел богатеть вместе со страной, и приносил пользу людям, которые со мной работали. И в результате я помойная крыса, и век мой недолог.

А вам все по хрен дым. Вы ищете нору потеплее и корм посытнее, вот и вся ваша жизненная философия. И все эти устроившиеся в жизни люди страшно уважают себя за свою правильность. Вот что бы ни делали — и они еще убеждены в своей правильности! Они убеждены в своем праве воровать, лгать, унижать, посылать на смерть — и чье-либо сомнение в этом их праве приводит их в праведный гнев! Посмел выразить неудовольствие — значит, изменник родины! А если что — им всегда виноват кто-то другой, ты понимаешь...

Чтоб вы все сдохли. Будьте прокляты.

Я ненавижу вас. Уроды. Холопы. Лживые рабы. Бесстыжие жулики. Бессердечные и тупые жлобы. Наглые хамы. Когда их бьют — они плачут. Их угнетают — они взывают к жалости. Справедливости хотят. Они понимают несправедливость только по отношению к себе. Но дай им волю, дай им власть — и они мгновенно станут теми же хамами и ворьем, под которыми стонали только что. И так же

будут гнуть и обворовывать других. Угнетенный — это личинка, из которой в питательной среде власти вылупляется казнокрад. Вот в чем горе, вот в чем безнадежность И подлость, подлость бесконечная везде!

Раб не хочет быть свободным. Раб хочет быть господином. Свободы он не понимает. Не помню, где я это прочитал когда-то. Или по телику слышал.

Из хама не выйдет пана. Нет хуже господина, чем вчерашний раб.

Признаюсь честно — я однажды тоже дал Белинскому в ухо. Хорошо, что он все забывает. Он очень любит лекции читать, вернее нотации, а может проповеди, трудно разобрать, что он тебе вкручивает. И тут он понес о русской духовности. О Достоевском, Толстом и православной душе — это которой иностранцам не понять. О жалости нашей христианской и милосердии. Как добр и отзывчив русский человек.

И тут у меня в голове что-то соскочило и зазвенело. Я вспомнил, как следователь мою маму в тюрьму посадил, за то что я на нее доверенность оставил подпись ставить. Мы уже распродавались, чтоб долги всем раздать.

Он знал, гадина поганая, что она невиновна, что она тут вообще ни при чем, что она уже пожилая больная женщина, всю жизнь честно врачом проработавшая, — а ему плевать. Он ее из ненависти ко мне посадил, и чтоб дело слепить. И судья — женщина! — дала ей семь лет! А прокурор просил десять.

Вот тогда я плакал. И вот тогда я увидел весь мир другими глазами. И всю страну увидел другими глазами, и народ.

Мама через четыре года умерла в колонии. И вот тогда я, если б мог, сбросил атомную бомбу на всю эту страну. Честно. Я думал. Пил, плакал и думал. А что мне было еще делать? Я вывез бы одноклассников, ребят из моего взвода, еще человек ну пятнадцать от силы знакомых хороших людей с их семьями. А на остальных бы грохнул это все. И пусть через сто лет, когда уйдет радиация, это заселят китайцы с поляками — до Урала с двух сторон. И пишут потом в учебниках, как их предки осваивали эту свою исконную землю.

У меня это все в голове мгновенно пронеслось, и в этой голове взорвалась атомная бомба и испепелила страну, и оказалось, что я дал Берлинскому в ухо. Потом я ему прикладывал мокрый платок, а он мне потом рассказывал, что я в это время орал. А он никогда не врет. Я испугался. Я, оказывается, довольно долго орал.

Я орал, что это ж надо иметь такую наглость говорить о русской духовности, когда у нас больше всех в мире брошенных детей. Когда мы по героину на первом месте в мире, и по сдохшим в год наркоманам на первом месте. Когда все насквозь продажны, за бабло делают все, по коррупции мы тоже месте на втором после не то Нигерии, не то Зимбабве. Когда разница между бедными и богатыми раз в десять больше, чем на том самом проклятом бездуховном Западе.

— Вы чем мерите свою духовность, суки позорные?! — орал я. — Где сантиметр, где весы?! Это у вас от духовности олигархи все бабло таранят за границу, а на родине хрен школу построят?! Хотя один русских миллиардер построил современную бесплатную больницу для простых людей?! Да вам до америкосов как до Луны — хоть один, хоть от одного процента своих миллиардов, отказался хоть в пользу чего-нибудь для людей?! Это что — их миллиардеры живут в таких дворцах, как наши ворюги?!

— Толстой, Чехов и Достоевский, — говорил Белинский.

— Что?! Три богатыря против ста миллионов тварей дрожащих?! — бесновался (рассказывал он) я. — Дрожат — а воруют! Дрожат — а убивают! Жрут друг друга — а в перерывах молятся! Это от духовности русский суд никогда никого не оправдывает? Это от духовности врачи и учителя нищие? Это от духовности позорище лицемерное вместо выборов?! Это от духовности славянских проституток больше всех в мире?! Это от духовности наши старики вешаются больше, чем везде?!

У него уже тряпка на голове высохла, а я все вопил, даже устал, пар вышел.

— Знаешь, — грустно сказал он, — я должен об этом подумать. Ты только больше по голове меня не бей, она теперь до вечера гудеть будет.

— Извини, — сказал я. — Ты погоди, я пошустрю выпить чего-нибудь и вернусь.

— Я люблю на книжные магазины смотреть, ты же знаешь, — сказал он. — Внутрь-то нас не особо пускают, но на витринах все новинки выставляются. И вот из одиннадцати магазинов, которые я обходил, осталось два. Понимаешь — два из одиннадцати. Рядом с площадью Свободы центральный и еще на Академика Холмогорова. А девять закрылись. Не хотят люди читать. Так что может, конечно, и не так уж хорошо у нас с духовностью. Но раньше не так было, раньше духовное большую роль играло. Сам, наверно, помнишь.

— Сам не помню, но когда русские рабовладельцы торговали русскими рабами — при крепостном праве — с духовностью было, конечно, отлично. Слушай — а когда Пугачев резал помещиков со всей дворней, кто был духовнее, он или они? А когда ГПУ — или НКВД, хрен там их названия разберет — миллионы мужичков в тундру вымораживать свозили, да с детишечками малыми, родителями-старикашечками, женами брюхатенькими — это от духовности? И ни одного не пожалели, не пощадили, кто плакал, кто сапоги целовал — ни одного не пощадили, ни одного! Есть в списке — езда со двора в дальние снега подыхать! Это от духовности миллионы в концлагерях сгинули, а другие миллионы их охраняли? Это от духовности от русской в Великий Голод крестьяне детей ели от безумия!!! Это от духовности сотни тысяч по подвалам постреляли — да после пыток!!!

— Слушай, — с опаской решил Белинский, — ты лучше с таким настроением за бухлом не ходи. А то точно нарвешься по рылу. Без всякой духовности. Я тебя знаю. Посиди пока тут у меня, покури. А я схожу.

Он постоял перед своим ящичным стеллажом, вздохнул, вытащил три книжки — все три детективы, и довольно целого вида — и кивнул мне, обернувшись из своей дырки. Это надо оценить, ребята. Я знаю же, куда он пошел. Или на базар, или на вокзал. Там пасется пара теток, которые из ящика торгуют задешево подержанными книгами. За полцены они книжки у него возьмут.

Принес он флакон «Огуречного» и пузырек валерьянки.

— Семьдесят пять рублей — плотно отоварил, — похвалил он себя за хозяйственность. Бережно отпил валерьянки и запил «Огуречным» — причем ведь меньше половины выпил. И мне передал. А я ведь помню, что у него голова до вечера гудеть будет.

— Ты прости меня, — говорю. — Я не со зла. Даже не помню, как вышло.

А он отвечает:

— Состояние сильного душевного волнения, перешедшее в состояние аффекта, является смягчающим обстоятельством и может полностью снять с подсудимого ответственность за совершенное деяние.

Из него иногда и не то абзацами выскакивает.

Ментовские метаморфозы

И тут к нам вперся Мент. Кривой в сосиску. Из одного кармана он достал бутылку магазинной водки, а из другого три жухловатых огурца. Он иногда шикаует. Ему по старой памяти сослуживцы бывшие изредка подбрасывают. Для полицая ведь полученная как взятка пол-литра — невелика ценность.

Вообще он не мент. Не из ментовки то есть. Он из органов. Из какой-то мутной системы. Типа двоюродной дочки ФСБ. За кем-то следили, кого-то гасили, кого-то курировали, кого-то просто крышевали элементарно. Но не ЧОП. Эдакая частно-государственная акционерка «Чекистский коготь».

Он выпил половину, а половину отдал нам, и два огурца. И мы это очень удачно казеночкой заполировали свой коктейль.

— Вот! — поднял палец Белинский. — Теперь нас правильное количество. На троих пьют не потому, что сто шестьдесят граммов достаточно. А потому что число правильное. Не больше граций, не меньше муз: три — это минимальное застолье.

Насчет граций и муз у него постоянно бред с культурными словами.

А Мент расположился начальственно (это у него осталось) в креслице — помните, были такие малогабаритные, для малогабаритных квартир: очень маленькие, но как раз помещаешься, и очень удобно. Белинский в этом своем креслице книжки читал. А Мент его занял

и авторитетно и как-то сразу подключился к нашей дискуссии. В теме. Как по радару пришел. Рыбак рыбака чует издалека. А вообще кто ж насчет наших проблем не в теме...

Белинский говорит:

— Беда духовности в том, что один бездуховный вечно подавляет сто духовных. Духовный человек во власть не пойдет, Достоевский прекрасно об этом писал. Пока духовный стремится к истине и совершенству — бездуховный просто бьет его в ухо. Поэтому духовность сохранить нелегко.

— Власть — это тебе не дух, — сказал Мент. — Власть — это сила! А уж к этой силе духовные сами подтягиваются. Кто за защитой, кто за деньгами, кто работы просит.

— А по-моему, наша власть — это просто глупость и хамство, — сказал я. — Она сильна только страну дербанить и митинги разгонять. А ворье, наркоторговцы и все жулики не боятся ее нисколько.

— Вот поэтому ты дурак и бомжара помойный, — сказал Мент. — Потому что не знаешь, какое бабло идет на самый верх от нарков. И не понимаешь, что ворье — типа тараканов, которые питаются крошками со стола власти. А реально она сама берет себе все, что хочет.

— А на духовном уровне задача государственной власти состоит в том, чтобы заботиться о народе, — с такими благородными нотками стал наезжать на него Белинский.

— Дурында ты книжная, — презрительно улыбнулся Мент. — Задача власти в том, чтобы ты ей по жизни кругом был обязан и виноват. И чтобы из всех вариантов поведения тебе оставался один: подчиняться. И не просто, а — радостно! добровольно! дисциплинированно! И чтоб от других ты требовал того же.

— Ты такой умный, что уже должен быть генералом полиции, — сказал я. — Что ж ты в подъезде ночуешь и с нами пьешь?

— У них есть психологическая реабилитация, — невпопад ответил пространству Мент.

— И в Америке, и в Германии. А у нас с тебя половину боевых возьмут за то, чтобы остальную половину ты вообще получил. А с этой полученной половины еще отберут половину на подарок высшему начальству. И никакая родина ни за что тебе на хрен не благодарна. И тогда начинаешь ненавидеть начальство, потом армию, а потом родину. Все офицеры, которые уволились и пошли в бизнес, мечтают свалить на Запад. А многие и свалили уже. По крайней мере семьи вывезли. А здесь только бизнес крутят.

— По-моему, вы крутите яйца, а не бизнес, и загранпаспорта у вас, вероятно, нет, — вежливо возразил Белинский, и я испугался, что сейчас Мент въедет ему в ухо.

— Это правда, — тихо согласился Мент. — Понимаешь, у меня вдруг однажды завод кончился. Так бывает, когда здоровый мужик всю жизнь много пахал, стрессы там, экстремаль-

ные условия, и вдруг — ни с чего! — раз и сломался. И больше он уже ничего в жизни не может.

— А ты-то че со своей бездуховностью? — хмыкнул я. — Ты ж солдафон!

— Не надо так говорить, — с детской беззащитностью попросил Мент. И вдруг стало заметно, что он смертельно уже пьян, и по его щетине съезжают слезы. Депресняк его накрыл, это мы видали. Сейчас еще этот исповедываться будет. О господи...

— У меня вера была, — открыл он. Открытие сделал. — Я верил, что все наладится, все будет хорошо...

— Кто ж тебе велел в эту хрень верить?

— Ты не понимаешь. Не смейся! Когда Путина поставили — он же наш, нормальный пацан. И он поставил чекистов на все посты. И однажды 20 декабря, День Чекиста, так с трибуны и сказал, что ЧК под крышей правительства Российской Федерации продолжает выполнять задание по укреплению власти и так далее. Пошутил, но вообще ведь да. Олигархов раскидал, страну укрепил.

Мы себя снова людьми почувствовали! Он органам уважение вернул, денег дал, армию стал поднимать. И вся Россия с колен стала подниматься. В службе смысл снова появился. Народ лучше жить стал. В Чечне, наконец, войну победой кончил, своего пацана поставил, порядок навел. Наша пьянь ленивая работать нормально не хочет? — и хрен с вами, стали таджиков ввозить. Они и строят, они и

убирают все, а вы только водяру жрете и халявы просите. Запад стал хвост свой мокрый поджимать. Все эти педерасты, демократы, все это жулье крикливое, которое Америке родину продавало, он им ручонки-то шаловливые укоротил.

При Путине что главное? Нам перестало быть за державу обидно. Державу опять уважать стали. И парады он вернул, и гордость людям вернул. И я тоже вам скажу: да — если не Путин, то кто?

Медведев — это, конечно, было недоразумение, этого мозгляка никто не уважал. Стрелки он переводил! Нанопрезидент, ага.

И когда Путин вернулся... осенью одиннадцатого года объявил, точно?.. вот, — я это приветствовал. Вот такой России нужен президент. И некем его заменять, и не фиг его заменять. Пацан все по уму делает.

И когда эти гондоны белоленточные стали свою Болотную мутить — выборы им, шмыборы, да все не так, да дайте власть нам — им сразу надо было по хребтам дубинками навалить, десяток крикунов рылом в стену — и полный был бы порядок. Вот он зря либерализм тогда проявил.

И вот на выборах мы победили — народ избрал Путина в президенты в третий раз. Настроение у ребят — отличное! А как раз когда инаугурация — мая.. какого мая?.. ну, все помнят, в начале мая, день инаугурации Президента России. И эти долбоклюи моржовые поперли на свою Болотную опять. А какой за-

мысел? — сорвать инаугурацию! Толпу собрать — и повалить к Кремлю. Чтоб американское телевидение на весь мир показало, как, значит, народ недоволен, что Путина выбрали. Но оцепление они хрен прорвали, вложили там ребята ума под ребра кое-кому понахальнее.

В общем, все прошло нормально, после работы мы с ребятами выпили, поздравили друг друга и пошли по домам.

И вот вечером сижу я перед телевизором, бутылочку законную тяну, на завтра отгул всем дали. Новости смотрю. Инаугурация в Кремле. Двери золотые огромные распахиваются, толпа главных людей страны аплодирует, а Путин идет скромно так по проходу и всех как бы благодарит улыбкой, даже не улыбкой — глазами одними. И видно, что поволновался, но виду старается не продавать. И выпил я за него рюмку.

Каналами пощелкал — а я к кабельному был подключен, ткнул этот — «Дождь» — ну, чего они там наврут? А они показывают, как ребята тех уродов на Болотной прессуют. Выпил я за ребят.

И вот тут это у меня и случилось. Припадок. В первый раз. Я сначала подумал, что водкой траванулся, намешали там невесть чего. До туалета еле добежал — а меня выворачивает. Полный унитаз. На коленях стою, обнял его, а сам аж наизнанку. Аж дрожу весь, и весь мокрый стал, пот холодный катится.

Ну, проблевался, помылся-просморкался — вернулся в комнату. Сижу в кресле, по ящику футбол, жена пива принесла — понимает. А в

перерыве — новости. И мена — р-раз! — и опять так замутило, хоть сдохни. Все качается, пот, холод, и изнутри как пилкой режет — желчь изо рта бьет, желтая и зеленая. И печень — как после нокаута, крюк левой поймал.

В зеркале — как покойник: белый, синий, глаза запали. Жена плачет со страха. Скорую вызвали. Два часа ждали — я уж сам успокоился. Ну, они вкололи чего-то, желудок промыли, кретины, что там промывать было. А назавтра пошел я в нашу поликлинику.

Сначала гастероэнтеролог, потом невропатолог, потом психолог, анализы неделю сдавал, бюллетень десять дней. Здоров! Ну там феназепам, эгланил, хрень какую-то прописали. И вручили путевку на неделю в наш профилакторий — в лесной. Там вечером санитарке денег дали, она выпить принесла, мы — за наши успехи! И меня — шарах! До утра блевал и трясся, врача переполошил.

...Вот так все и пошло. Дальше — больше. По врачам — все ноги стоптал. На фотографию свою в форме гляну в удостоверении — и с копыт. Я сериалы военные смотрел, теперь гляну — и бегом в туалет, только б по дороге не упасть. Парад в День Победы, ты понял! А я блюю в туалете и плачу. Есть перестал, худой, как Кощей. Стал пакетики с собой носить — чтоб в них травить, если неожиданно.

— А вы в церковь ходить не пробовали? — спросил Белинский.

— Еще как пробовал! Пока в церкви — все отлично. Вышел — и как не был. И молился,

и свечки ставил. А потом встретил в храме одного настоятеля — а он по соседнему ведомству подполковником значится. Так я прямо в церкви блеванул, это ж ужас. Потом свечки ставил, замаливал, только по сторонам старался не смотреть, чтоб не увидеть кого ненароком.

Уволили меня, короче. Пошел на работу устраиваться. А работать не могу. Приду, поговорю — и бегом в туалет блевать.

— Вообще не можешь?!

— А я про что. Вот я хоть винтик завинчиваю, а в голове в это время — Путин в Кремле, ребята в органах, и еще последнее время лезут в мысли все время ополченцы наши в Донбассе, героические же ребята! И я с ходу блюю.

— Чарльз Дарвин тоже блевал, — привел пример Белинский, — а в результате создал теорию эволюции.

— Может, этого недостаточно для создания теории?

— Теорий мало, а на практике блюют у нас все.

— А как же ты со своими-то общаешься? Особенно если они в форме?

Мент гордо приосанился:

— Думать надо! Я способ изобрел. Я их ругаю. Как бы в шутку. А они смеются. Типа: здорово, охранка, взяточники, паразиты на здоровом теле трудящегося народа! Они смеются. А секрет в том, что я в это время на самом деле так думаю. Только виду не подаю. Улыбаюсь и обнимаюсь.

Я ведь внутри себя предателем стал, — с ужасом проговорил он. — Я чего люблю и уважаю — так от этого блюю и умираю. Мне же спастись-то как-то надо, выжить как-то надо. А то жена прогнала, работы нет, детям на глаза показаться не могу. А я чем виноват? Я Родине служил, и здоровье потерял на этой службе. На государственной службе. (Он опять заплакал.)

Думаешь о чем хорошем и правильном — и лучше сдохнуть. Думаешь о плохом — и тогда чувствуешь себя отлично. Как жить?..

— Когнитивный диссонанс, — сказал Белинский.

— Когнитивный диссонанс — это расстояние между твоими яйцами и моим сапогом, — сказал Мент. — И чтоб больше от тебя я этой фигни не слышал!

— А о чем ты думаешь-то теперь? — спросил я.

— О чем... Об отдельных недостатках... Вот, скажем, Путин в начале правления подписал обязательство, что Ельцин и его семья ни за какие преступления привлекаться не будут. А сам вдруг отбирает льготы у стариков. А чиновникам резко повышает! Вдруг оказывается, что все его друзья резко стали миллиардерами! А нефть прет и прет за сто баксов — а ни хрена народ не богатеет, все только разваливается и разворовывается. И вдруг чехи, которых мы давили, прессуют наших в наглуую по всей стране, на джипах у Вечного Огня гоняют! Нет правды. Ни в суде, ни в телевизоре, ни где. А мне — по фиг, я уже не служу.

Потому что не будет больше в жизни никаких изменений. Сидели мы в заднице и будем сидеть. А они воровали миллиарды и будут воровать. А великая страна стала сырьевым придатком — и будет им. А на хрена ж тогда служить?

Мы-то радовались чего? Что порядок наводится. А он, оказывается, не для нас наводился. И не наш это порядок. Так мне теперь чего — в партизанский отряд идти? За народное счастье из-за угла биться, с чердака стрелять?

— Да вы, батенька, патриот, — заключил Белинский.

— А тебя убью. Здесь и сейчас, — сказал Мент. — Мне знаешь че ребята наши говорят при встрече, которые в охране олигархов работают? Говорят: они думают, что в случае чего мы их всегда защитим, мы ж профессионалы высшего класса, зарплату высокую получаем. А мы, если что пойдет, сами их первые и замочим, ворье поганое, весь народ обокрали. Вот такой у нашей охраны патриотизм.

И он стал долго и утомительно перечислять, сбиваясь и засыпая, какие «там у них» социальные гарантии у полицейского и его семьи — и какие у нас — «Плюс за твои же деньги хрен тебе же в глотку, чтоб голова не болталась».

— Я был в Афгане за народную власть — пацаном еще. А оказалось — оккупант. Я был в Чечне за Россию! А теперь они живут лучше нас за наши же деньги, и нас же еще чморят. А теперь решили укропов мочить? А сами

кто? — рванье, дятлы тупые. Там хоть двухсотые домой посылали, хоть и хоронили не как смертью храбрых, а позорно по-тихому зарывали. А здесь вообще крематории какие-то передвижные выдумали, в шахты тела сбрасывают.

Кореш в Индии в охране посольства служил. Нищий народ. А офицер кончает училище — ему сразу квартиру. Старший офицер — коттедж! На базар — денщик ходит: не может офицерская жена сама на базар ходить!

Все пропало, все пропало. Кому служить, во что верить? Сука, я бы и верил, но что ж я могу сделать: услышу их вранье по радио или телику — и блюю! Меня лечить надо — кто меня будет лечить? Кто тут кого лечит, кроме миллионеров и генералов?

— Тебя от чего лечить?

— От того, что я стал врагом народа! Только плохое вижу.

Как, однако, интересно у человека в голове могут меняться местами добро и зло, правда и ложь. Не голова, а погремушка с двумя шариками внутри.

— А что бы вы хотели сделать, если бы вдруг все смогли? — участливо поинтересовался Белинский.

И тут Мент нас потряс.

— Я за демократию и честные выборы, — сказал он.

— Так тебе, брат, здесь самое и место, — подытожил я.

А Белинский спросил:

— Но вы ведь понимаете, что это не лечится?

Свалка

Наступило время гадства. Хотел бы я знать, сколько оно подлится и чем кончится. Я сидел и думал, почему все хорошее обязательно сменяется гадством. И хорошие люди поворачиваются своей гадской стороной.

Я сидел на свалке и думал, почему я стал неудачником и как именно это произошло.

Наверное, все становятся неудачниками. Никто не получает в жизни то, что хочет. Но в разной, черт возьми, степени. По разным причинам. Как говорил когда-то друг мой Генделев, кому суп жидок, кому жид мелок.

А кругом кипела своя специфическая жизнь. Я давно думаю переселиться на свалку. Тут гарантировано и пропитание, и общество. Ноги сами и принесли. Но уж больно беспросветно впереди. Человек должен жить среди людей, даже если сам бомж.

Вон мусоровоз с натужным жужжанием опорожнил нутро, и двое тут же замахали своими проволочными крючками, растаскивая и исследуя кучу. У них пара минут, пока доползет бульдозер, разравнивающий по оврагу эти извергнутые ошметки цивилизации. Вернее, оврага уже не осталось, его очертания сглажены длинной пологой возвышенностью. Боже, сколько человеческого труда вбито и закатано в эту свалку, сколько надежд, нервов, а радости было сколько. Что же остается от нас на планете, кроме мусора, в конце концов?

Я сидел на опрокинутом ведре, его мятый эмалированный бок был чем-то прорублен, топором, вероятно, курил и думал: за этим ведром тоже ведь своя история. Как его купила женщина, семейная, молодая, хозяйство вести надо, воду носить, стирать, капусту квасить, ведро состарилось и стало помойным, и что это была за жизнь и как пил, наверно, муж, что в один прекрасный момент шарахнул топором по этому ведру. С возрастом, теряя здоровье и надежды, становишься иногда сентиментальным, как идиот.

Ни у кого не сбывается все, о чем мечтал. Разве что кусочек и ненадолго. Когда я был в своем замке король, и дело пошло накатом, и я тешил тщеславие благотворительностью и дружбой со звездами, — я, конечно, бабцов пропахал. Когда на тебе съют от Ферре, и Патек Филипп тикает, и охрана открывает тебе дверцу мерина, а тебе двадцать четыре года и собой ничего — бабы притягиваются магнитом. А я, честно признаюсь, всегда падал на тридцатилетних и замужних. У каждого свой тип. А эти самые готовые. Аж ждут.

Ирочка моя, кобылка секретарская, антилопа разнузданная, чудо интеллигентности в филологических очочках, говорила, что я их обольщаю в стиле Великого Гэтсби. Типа они млеют от роскоши и неограниченных мужских возможностей. Дала мне эту книгу. А я предпочитаю книги толщиной с рейс самолета. Предпочитал, в смысле. Эта оказалась как раз на раз. Хорошая книга. Если ты делаешь

дело — тебя обязательно подставят. И все продадут. И будь рад, если не отстреляли. А уж отстреляли нашего брата в лихие девяностые — оркестры дудеть не успевали.

Да, так это я к тому, что все эти бабы были красивы. Естественно, зачем же некрасивых-то. И чувственны. И с головой нормально. То есть — на таких повышенный спрос. И по всему должны были удачно выйти замуж. Чтоб мужик был видным, зарабатывал, и вообще. Так что поразительно? Ни одна не счастлива. Или муж оказался ничтожеством, или жлоб и бьет, или бухает, или косит налево, или импотент; или так вечно занят, что обрыдло. Сколько ничтожеств и импотентов — это даже удивительно. Или — еще вариант: всем вроде хорош, а только с души от него воротит. И все повторяют (дуры все же): не родись красивой, родись счастливой.

И вот одна с голоду изводит себя онанизмом и лечится от невроза, другая трахается с любым подходящим, третья лелеет планы убийства мужа, а четвертая смирилась и тянет лямку. Так конечно со мной они кислорода вдыхали. Это я все к тому, что за кратким периодом счастья наступает у красивых баб период гадства. А если даже у них, чего же всем остальным ждать.

Сижу на нарах, как король на именинах. Мой трон — помойное ведро, парам-парам-парам. Пованивает, конечно, но это только первые час-два, потом-то принюхаешься, не чуешь...

Гребет издали ко мне Пугач, бороздит ботами по рыхлым слоям. Его тут слушают. Он Пугачев, потому что бороду не стрижет, мондавошек не боится. Черная такая бородища венником. Голова под шапкой-то лысая, а бородища цаганская, смоляная. Но он не любит, если цыганом называют, в рыло может без предупреждения. Редкая колотуха, даже Федю однажды снес.

— Чего, — говорит, — Пирамида, так в гости зашел, или к нам прибиться хочешь? — Еще он Пугачев, потому что властный во всем.

А что я скажу: что вообще-то имел мысль попробовать на зиму остаться, у них тут тепло и сытно, да вот понюхал эту добычливую и деловитую жизнь, и как-то расхотелось мне вливаться в коллектив...

— Возьми, — говорю, — Пугач, мелкий знак уважения от гостя. — И протягиваю ему швейцарский офицерский нож. Расшатан немного, одно лезвие сломано, но все же ничего. Без подарка не то отношение будет.

Он глянул небрежно и в карман своего полупальто спустил. У него такое очень старомодное полупальто, но хорошее, серое в елочку. Видно, у какой-то старушки от помершего мужа в нафталине лежало.

— Покушать хочешь?

— За хозяйским столом — не знаю, заслужил ли уважение.

Он такой подход любит. У него хибара — сбоку свалки под большим кленом. Фанера,

жесть, брусья — все по уму скреплено. И места внутри много.

Пугач сделал знак своему денщику, Ваньке-Капкану. У Капкана пасть — две железные дуги, между зубами даже почти бороздок нет, стоматолог сделать поленился. Рот большой, а все остальное маленькое. Но шустрый.

Он поставил чайник на чугунную печурку, на стол открыл банку кильки и нарезал хлеб; кружки армейские, эмалированные. И бутылку водки. Может, там и не водка, но на вид — нормальная бутылка. Я даже сглотнул.

Пугач сел на железную кровать, а мне указал на стул:

— Я тебя уважаю, потому что ты круто стоял, с серьезным баблом за бугор свалить мог, а остался с народом. Вот поэтому я с тобой выпью.

Точно — настоящая водка! И стул нормальный, только качается — пол земляной.

— Да я не хотел напрашиваться, — говорю. — Так зашел, посмотреть просто, проведать.

— Я тебя уважаю, еще Пророка и Судью. Судью давно видел?

— Да говорят, он за станцией, за рембазой окопался. Но чтоб помер — не слышал такого. Кочумает помаленьку. А видел... месяца полтора, наверно. Нормальный был.

Судья — он настоящий судья. Точно. Он был заместителем председателя районного суда. И впал в депрессию. Ни от чего. Кого, говорит, я сужу, кому срока паяю, я бы их долбаный кодекс им в зад-то вбил, чтоб гор-

лом вышел. Убийце восемь лет — и пацану за драку восемь. Два года за курицу — а кражу завода хрен докажешь. А еще он в православие ударился, и все ад ему мерещился. Решил лечиться: из дурдома выполз почти овощем, а мысли у овоща прежние. Он в монахи попробовал устроиться — так выяснил, что отец настоятель при совке в КГБ стучал. Обиделся. Эть тоже новость. Ну и съехал немного.

— А то смотри, — предлагал Пугач. — У меня тут одиннадцать ребят, футбольная команда, не жалуются. Что получше я шоферам продаю, бульдозеристу, деньги есть. Свет, тепло — сам видишь. Хочешь — в общем бараке, хочешь — сам построй, но тогда без электричества.

Это да: они провода на столб накиннули, лампочка под крышей на крючке, электрорадиатор, жить можно.

— Я не каждому предлагаю. Чужих мы гоним. На хрен сложности. Жмурик откроется очередной — а если чужой болтанет?

Его ребята принесли улов. Джинсы целые разложили, зимнее пальто с котиковым воротником, банку маринованных огурцов, пластиковый пакет нормального хлеба. Пугач отпустил их жестом. Они его все боятся. Правильно боятся. Я тоже его боюсь.

— Ну, выпил, закусил — счастливой дороги, — без предисловий велел Пугач. Хлебо-сольный хозяин попрощался, значит.

Я поблагодарил и двинулся. Края свалки терялись в сумерках. Она с километр в длину,

наверно, и метров двести в ширину. Бомжи с мешками на горбах тянулись к своей обители. Сейчас жрать сядут, я Ванино варево в ведерной кастрюле пообонял.

Какая-то пародия на коммунистический колхоз, а не свободная жизнь. Вот сука, на самом дне — и тоже хватает тебя за шкварник мозолистая направляющая рука. Значит, они сами хотят так. В трудовой коллектив тянутся... уроды!

Ну что — время провел нормально. Пугач — знакомство полезное.

А в ухе он все же носит, дьявол, большую медную серьгу! Нарочно под цыгана косит, нравится ему такая вот стильность, и нарочно провоцирует, чтоб назвали — а тогда в рыло!

И нравилось ему, поганцу, что я все время глаза от этой серьги отвожу, не смею откровенно коситься. Какие удивительные формы имеет человеческое тщеславие.

Звонок

Этот телефон на скамейке я воспринял как подарок судьбы.

Постоянно хочется что-нибудь украсть. А ведь не знаешь, с какого конца взяться.

Поживешь несколько лет нашей жизнью — и муки совести испарятся сами собой, бесследно. Украсть — это прекрасно. Сразу разбогатеть. Отдохнуть от нужды. Порадоваться жизни.

А что может украсть простой человек, кроме пропитания с помойки? Как собака, ей-богу.

Я часто думал, как я краду телефон. Он маленький, всем нужный, бывают дорогие, его красть удобно. Но я же не карманник, не умею. А так бы принес к Барсуку, уж рублей пятьсот-то он бы точно дал. А если новый, дорогой, айфон? Человек должен мечтать! Пока он мечтает — не все потеряно.

И вот я иду — и вижу на скамейке телефон. Скамейка зеленая, деревянная, ну, из этих длинных брусочков со щелями между ними. И как хорошо, думаю, что он в щель не провалился, я бы его там внизу на бурой земле мог не заметить. Он и сам такой буровато-серый. Цапнул я его, не останавливаясь, опустил в карман и иду спокойно дальше. На всякий случай. Если хозяин заметит пропажу и вернется как раз сейчас в поисках.

Но — это удача. Это удачный день.

Я отошел, перестраховываясь, кварталов шесть, пару раз свернув. Как шпион, самому неловко. А сам его в кармане щупал. Гладенький, ладненький, раскладушка. Не новая значит, модель, а и хрен с ней. Дареному коню в зубы не смотрят.

А может, его не Барсуку отдать, спруту-кровопийце, а с Ментом поговорить? Он часто со своими бывшими трется, может, лучше продаст? Нет, они так отбирают, если кого заметут.

Для спокойствия зашел под навес к мусорным бакам, там вещь в руках вопросов не вызовет, помойка помойка и есть, и стал глядеть.

«Самсунг». Небогатый. Раскрыл — светится. Нажал клавишу, красную трубочку — кнопку отбоя, так понимаю. Он тилибомкнул приятно. Уютно так, дружески, будто знакомится. Нажал зеленую трубочку — вызова. Номера засветились.

Я не выдержал — набрал первые попавшиеся шесть цифр, начиная с тройки, как у нас большинство номеров начинается. Там — гудки. И — мужской голос — густой, мощный такой, с металлом:

— Слушаю. (Короткая пауза.) Говорите.

— Проверка связи, — говорю; и отключился.

И вот иду я в прекрасном настроении. Погода неплохая, можно и погулять, но ноги сами несут к Барсуку. Ладно, пятьсот не пятьсот, но уж меньше трехсот всяко дать не может. А это же кое-что! Куплю четвертинку магазинной водки, свежий батон, пару охотничьих колбасок, сигареты с фильтром, и еще куплю на рынке новые трусы и носки. Еще не забыть купить бульонных кубиков, они дешевые, а кипятком с огня разведешь — и заливаешь этим огненным бульоном любой крошенный харч, получается вкусный сытный суп.

И тут в кармане тихонько, мило так: блямля-ля-лям! Телефончик мой звонит. Иду и думаю: брать не брать. Но срабатывает какой-то рефлекс, не то любопытство, не то подчинение, и берешь трубку. Остановился я, раскрыл телефончик свой, и вылетает из меня неожиданно, я сто лет забыл себя таким, будто в ко-

жаном кресле сажу в директорском кабинете, уверенно так и жестко:

— Да.

А там женский голос, ровный, негромкий, немолодой, такой немного усталый, немного грустный, добрый, произносит:

— Ну здравствуй, сынок.

Я хочу сказать, что извините, вы ошиблись номером, но я не могу ничего сказать. Потому что это МАМИН ГОЛОС.

...Я в суеверном ужасе, в облачном его накате, произношу грубовато, соображать пытаюсь:

— Простите, вы кому звоните?

А МАМИН ГОЛОС, точно же мамин! — тихо, с грустью недоумевает:

— Я тебе звоню, сынок. Ты что, не узнал меня?

— Узнал... — говорю. А сознание у меня отплыло и висит в стороне от головы, как прозрачный туман.

— Как ты себя чувствуешь, сынок? — спрашивает МАМА. А я весь окаменел, я не знаю, что думать и что происходит. Потому что мама умерла уже давно, на зоне, одна, в лагерной больничке, никому не нужная, перестав принимать лекарства, потому что не хотела больше жить, кончились силы бороться, надежда кончилась, что доживет до освобождения, и поняла, что меня больше никогда не увидит. И я не был на ее похоронах, и не видел, как ее опускают в землю, и не знаю, где ее могила, и даже во сне все эти годы видел ее только два раза. И я живу с этим, и умру с

этим, и несу свой смертный грех, и искупить его нельзя. Но я не верю в мистику, и сейчас мне страшно, и я боюсь с ней разговаривать, ОТТУДА не звонят. И я не знаю, что думать, пытаюсь из подлого, позорного, презренного самосохранения цепляться за ошибку, совпадение, случайность.

— Вы откуда звоните? — спросил я, постыдно сознавая себя негодяем и предателем за это «вы», ужасаясь невозможности сказать «ты».

— Я звоню из дома, — с легким недоумением ответила МАМА, чуть помедлив. — А почему ты спрашиваешь? Ты не ответил, как ты себя чувствуешь. У тебя все в порядке?

— Вы кому звоните? — спросил я, конечный подлец, негодяй без чести и совести, последняя тварь, отказывающийся признавать родную мать, которая ради него преодолела законы мира и границу бытия.

— Я звоню своему сыну Женечке, — послушно ответила МАМА, в ее замедленности и недоумении была усталость, и затрудненность мысли, и старание сохранить логику... И я не выдержал.

Казнясь безмерно гнусной трусостью своего непоправимого поступка, я нажал «отбой». Разговор прервался. Я быстро, в возбуждении чувств, пошел с этого места. Суеверный трепет, как дождь из хрустальных иголок, звенел вокруг меня.

На ходу я сдвинул пальцем заднюю крышечку, извлек батарейку, и выбросил крышечку и батарейку подальше в разные стороны.

Шагов через сотню я раскрыл телефон, разломил на две половины и тоже кинул сильно налево и направо.

Спасаясь в движении несколько или много минут, я остановился, сел на асфальт меж городского пейзажа и закурил.

Кошмар запустил тонкие ледяные когти в мозг, и мир распался на странные и разрозненные узоры.

Постепенно из этих узоров сложилась картина странного и незнакомого города, хотя он угадывался как нечто, накладывающееся на мое воображение. Будто мне этот город когда-то снился, и вот сейчас я знакомлюсь со своим сном. Бред, короче.

В этом городе, созданном моим сном, шли одетые в куртки и плащи люди, ехали автомобили, стояли бело-серые и коричневые кирпичные дома, сверху было небо из тонких слоистых туч с дымно-голубыми просветами. Куда бы я ни поворачивал, везде было одно и то же. Но я двигался в определенном направлении, потому что знал, что мне полагается туда идти. Некоторые люди, которые мне встречались, смотрели на меня внимательно, хотя и кратко. А один из этих людей, который показался мне чем-то похожим на меня самого, громко поздоровался со мной. Я ответил ему такими же словами, он посмотрел на меня непонятно, и я пошел дальше.

Он меня догнал и сказал: надо поговорить, ты чего. Куда-то повел, и мы сели на какие-то камни, вернее бетонные блоки. И он сказал:

— Ты че, Пирамида, обдолбался?

Я понял, что Пирамида — это я, а «обдолбался» — не в порядке с головой. Еще я понял, что мы знакомы. Но я его абсолютно не помнил. Хотя казалось, что я его раньше видел.

Мы о чем-то говорили, но смысла я не понимал. Потом он меня повел, а я знал, что мне надо с ним идти, хотя не знал зачем. Мы пришли в помещение. Там были еще люди, и все меня приветствовали. И дали выпить. И сказали, ему надо побольше. Я понял, что очень хочу этого, и выпил. Было противно, но эту противность следовало преодолеть, и тогда сделалось очень приятно.

В грудь провалился холодный снаружи и горячий внутри шарик, в желудке закачался поплавок. Мощная теплая волна ударила накатом изнутри, я перестал видеть, а потом увидел ребят. Они сидели и смотрели на меня. Горел маленький костерок на цементном полу, и глаза на щербатых рожах блестели.

— Оклемался? — прохрипел Федя, закашлялся и харкнул в сторону.

— Ты че курил? — спросил Синяк.

— Вы будьте осторожнее, не мальчик уже, — укорил Седой.

Я попросил выпить еще, мне налили, преодолевая известную жадность и гордясь щедростью к друзьям. Я выпил, Федя дал закурить целую, я затанулся, понял и сказал:

— Ничего не было.

— В смысле? Чего — «ничего»?

Я сидел у стены. Я оперся спиной о стену. Было очень удобно и тепло. Алена дала мне кружку с горячим чаем. Алена тоже была здесь. Я пил горячий чай и курил. Было очень хорошо.

— Ты ваше сегодня, — сказала Алена. — Ты че пил ты помнишь? Дурак, что ли?

— Оставь его, — сказал Федя.

Я не помнил. Я ничего не помнил.

Вернее, не так. Я все помнил, но все это было неправда. Потому что ничего не было. Я думал, как им объяснить, а то обидятся, что я разговаривать не хочу.

Я узнал сегодня довольно страшную, но одновременно успокоительную вещь. Что у меня ничего не было. Я все это себе придумал, намечтал. Мечты о прошлом люди и называют воспоминаниями. Ну, типа все старики были герои, все старухи красавицы.

Когда человек — никто, ему нужно сознавать себя кем-то, чтобы он мог вообще существовать. Держаться на поверхности жизни. Иначе букашка утонет. И чтоб не утонуть, букашка строит под собой, под поверхностью воды, никому не видимое основание. Это основание — ее, букашкина, биография, ее подвиги и свершения, ее любовь и ненависть, такой огромный комок из разных дел и человеческих отношений. Под тонкой чертой, отделяющей видимое настоящее от невидимого прошлого, можно навертеть себе огромный поплавок и опираться на него всеми лапками, чтоб держаться в настоящем и не погрузиться в забвение с головой.

То есть — я все помнил, но я не помнил, это все было на самом деле, или все мое прошлое — лишь созданный услужливым подсознанием мираж, брошенный страдающему и тонущему сознанию, как спасательный круг. «Аберрация памяти». Слышал я такое выражение. Медицинский факт.

Тогда оказалось, что я плачу. Я плачу о том, что никогда не был богатым, не был владельцем процветающей фирмы, не угощал устрицами звезд в дорогих кабаках. Плачу о том, что не было никакой сладостной юности с бесчисленными женщинами, страстными и бесстыжими. Мое время плакать пришло: не было школы, не было армии, не было молодости и здоровья, и коробок с деньгами тоже не было. И остались только печальные мужские голоса, вдохновенно и стройно поющие о том, что жизнь моя иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, не было коня, не было гулкой рани, не было с весенних яблонь дыма, ничего не было, а значит и плакать не по чему.

Но МАМА-ТО БЫЛА. Уж без этого быть не может. Без этого невозможно. И теперь я никогда не узнаю, правда ли, что она мне звонила. Если бы я не сломал и выбросил телефон, можно было позвонить обратно на номер и узнать, кто там был. Но я боялся. Я очень боялся. Грех мой, вина моя, боль моя боялась, что это окажется правдой. Страшно говорить с тем светом. Нет, нет! Потому я и не стал звонить, отрезал себе пути, что не хотел узнать

про ошибку, что хотел думать, что это МАМА моя — оттуда, из-за последней черты, где мы когда-нибудь встретимся, позвонила мне, чтобы услышать мой голос и спросить, как я живу и как себя чувствую.

Я предал ее, из страха я не стал с ней говорить, и тогда я предал всю свою жизнь, которую она мне подарила. И моя жизнь исчезла. Из страха перед самым дорогим в жизни — я бросил трубку, и жизнь исчезла. Не стало ее. Потому что не было.

И остался я — бомж посреди пустоты, сзади ничего, а впереди тем более.

Как ты это объяснишь? Кому ты это объяснишь? Таким же бомжам, как ты сам? И на хрена им такое знание.

— Пускай проспится, — сказал Седой, накрывая его куском шерстяного одеяла. — Не в себе парень сегодня.

— Это с каждым бывает, — подтвердил Синяк. Федя вздохнул, икнул, рыгнул и сплюнул:

— А не фиг свистеть, как он был миллионером и драл всех подряд, что еще приплачивали.

— Все мужики фантазируют, — заступилась Алена. — А он безвредный. И добрый, кстати.

— Все добрые. Пока спят зубами к стенке.

Сумасшедший доктор

— Я как ты, братан, я как ты, ты на видимость внимания не обращай. Бомж я, по жизни бомж, в душе бомж, пошли они все на хрен.

Я их слышать не могу, видеть не могу, они все уроды, или я среди них урод, их всех лечить надо, или меня лечить надо, вот я и лечусь.

Это символично было, символично! — в первое же лето, как Путин пришел, загорелась телебашня в Москве, в Останкино. Самая, значит, высокая в России, с ее вершины все телевидение идет, все мысли власти народу передаются. И — эть-с! — ни хрена не передает, дым идет с вершины, горит она, высшая точка страны. Вот такая передача для народа, вот такой сигнал Господь Бог послал, вот такая примета всей путинской пропаганды. Все провода от пожара плавятся, дым и чад на полнеба вместо нормальных передач.

Тогда же сразу «Курск» утонул. Она утонула, ты понял? Так это фигня, моряки тонули и тонуть будут, профессия военного моряка может требовать смерти в любой миг. Я о другом. Слушай, ну я служил, ты служил, все служили, ну мозги же есть у людей. Хотя дым с башни идет все годы.

Скажи: зачем с такими трудами провели такую уникальную операцию — на стометровой глубине у лодки с двойным корпусом отпилили целиком всю носовую часть — толстенным тросом с алмазной крошкой! А остальное подняли — изучайте, товарищи аварийная комиссия. А взрыв-то был именно в носовом, в торпедном отсеке, его и изучать, там же и причина! А его — отпилили! И эсминцы квадрат охраняли, чтоб никто не подошел. А потом нос под водой взорвали. И конец.

Не понял? Давай с начала. Флотские учения. Возможна атака подлодок. Акустики сидят в своих постах, горизонт слушают. Хорошо слушают: кто первый цель обнаружит — десять суток отпуска. Бах по ушам! — взрыв под водой. Да такой, что корабли вздрогнули! Через полторы минуты — второй. Не засечь его — невозможно.

Пеленг с двух кораблей — вот и точка лодки. А кораблей там было до фига. Получите ложь первую — «долго искали». Сутки они искали. А как они, интересно, собираются бомбить лодки во время войны, если в мирное всем флотом сутки ищут неподвижную громадину?

Второе: обследовали, провели подводные съемки, эксперты анализируют под телекамеру: вмятина в носу! Явная, большая. Было подводное столкновение, указывают старики-адмиралы. Видимо, с американкой столкнулись. И — все. Больше этой версии никогда нигде вслух не звучало.

Третье: долго «искали», потом стали долго спасать. Сначала отказались звать норвежцев с англичанами, сами не сумели, позвали на помощь. Они их позвали на помощь не раньше, чем в девятом отсеке стуки прекратились. Вот когда в девятом все погибли — тогда позвали.

И только в-четвертых подняли лодку не раньше, чем отпилили нос. При том, что все сошлись во мнениях: причина катастрофы — взрыв в торпедном отсеке, в первом то-есть.

Для полноты счастья начальником комиссии сделали генпрокурора. В подлодках он не

петрит, но любые вредные мнения уничтожит в зародыше.

Ответ задачи: нефть, нефть стоила на тот момент двадцать долларов за баррель! Твенти бакс, гай! И экономика страны — была как ты сейчас: бомж. Бо-омж! Что страна выпросит, что на помойках найдет — то и похавает.

И что? И то, что ссориться с америкосами никак нельзя. Только западной милостыней и живы. А неловко ведь им, что вперлась их лодочка внаглую в район учений и столкнулась с нашей. Причем наша-то погибла, а они кое-как ухромали на базу в Норвегию и зализали раны. Это в свете-то разоружения России, открытой политики перед Западом и так далее. А тут они — лезут следить за нашими заранее объявленными официально учениями и топят наши лодки. Неудобняк. Серьезные репутационные потери.

Вот поэтому, парень, об огромной вмятине в носу никто больше не вспоминал. И о самом носе не вспоминал. Да. От удара торпеды сработала внутри нашей лодки — она и погибла. А американка уцелела.

Засекретили. Дружить с американцами надо было. Они денег давали. Обсудили инцидент друг Билл с другом Владимиром. Их пожелание — закон.

Вот теперь — молча, не чокаясь. За тех, кто остался в море.

М-да! К-хе! Няня — принесите ребенка! И тут у нас что? — тут у нас посыпались взрывы домов: в Москве, и в Волгодонске, и

в Буйнакске, а вот в Рязани уже заминировали, но хреновы жильцы дурные и бдительные кипеж подняли, не дали взорвать. ФСБ за хвост поймали, они говорят: молодцы, это мы учения проводили, бдительность вашу проверяли. Это не гексоген, это сахар, вот справка от химика. Химия, бабка, — это наука!

На хрен Чечне взрывать дома на свою голову? Она и так была независима, ее в покое оставили, делала что хотела да еще социалку получала. А тут получила вторую войну, смерти, разрушения и смену власти. Ну чистой воды провокация, хоть в учебник истории вставляй.

Правду мы не узнаем никогда, но «кому выгодно» — думать нечего. Мочить в сортире! Вчера Путин был для народа неизвестный тихий блондин в телевизоре, у которого лодка утонула. А сегодня стал своим пацаном, реальным и крутым, этот и бандюков согнет, и олигархов раскидает.

Три сотни человек погибло? Смешные ребята... Когда штурмовик отрабатывает по городскому кварталу — там сколько гибнет под завалами? И — ничего... Киллер убивает одного. Спецслужбист-диверсант — сто. Политик — сто тысяч. Жаль, конечно, но оправдания и причины, чего ради это делается, всегда есть.

Ну — за всех, кто лег под завалами. Нашей истории, так сказать. Пей, пей, у меня хватит.

Я это к тому, что телевышка, лодка и взрывы — ох это скверное начало. И раз, и два, и три. Предзнаменование тяжеловатое. Ох как

бы не добром не кончилось. Если Он там, наверху, чего решил — ничем его решения не изменишь.

И стали жить-поживать да добра наживать, и тут мелочь мелкая — террористы подорвали «Невский экспресс». Да так странно подорвали — седьмой вагон с рельс сошел и лег на насыпь. А электровоз с первыми шестью — проскочил. А с восьмого — остались вагоны на рельсах. А заряд был — семь килограммов в тротиловом эквиваленте. Во как!

Семь кило тротила — это начинка шестидюймового снаряда. Знаем — проходили. Воронка метр глубины, полтора в диаметре. Осколки наехавшего чугунного колеса разлетаются убойно на пятьсот метров. В вагоне вылетают все стекла, в днище дырища, трупы и раненые — с осколочными ранениями. Так хрен же вам в ясны очи! Все раны — оттого, что люди слетели с мест и бились обо все, а опоры сорвавшихся с мест кресел пропарывали тела.

Ни одной фотки в подтверждение их заявлений.. Воронки нет. Кусок рельса с обломком шпалы отошел на полметра в сторону — и все.

Где локомотивная бригада — предоставьте лица и показания! Исчез локомотив вместе с бригадой. А почему он-то не взорвался?! А взрыватель был «натяжного действия» — типа растяжку с гранатой для поезда поставили, вот он еще три секунды и ехал. А почему тогда тормозил эти секунды?!

Потом путались — по мобильнику гад звонил, задействуя взрыватель. А оказалось — в этой зоне мобильник не берется, м-да.

А на хрена семь кило — хватит двухсотграммовой шашки рельс порвать? А почему на ровном участке и с внутренней стороны колеи — а не на повороте и внешний рельс, чтоб вылетел состав за габарит и полетел под насыпь? Диверсанты что — не могли в интернет залезть? И наставники их неграмотные?

Из всех мышей ФСБ ловит только оппозицию. Даже врать толком не могут. Или пренебрегают. Пипла и так схавает, куда ты денешься.

А на самом деле лопнул это сварной шов цельносварного десятикилометрового хлыста под локомотивом на скоростной трассе Москва-Петербург. И реборды колес на тридцатикилометровом ходу ударами разбили трещину, и стотонная масса вагонов на этой скорости, скача через щель и падая на рельс, выбила кусок рельса наружу, бетон шпалы не выдержал и раскрошился, потянулся за рельсом, и седьмой вагон в тормозимом после удара составе уже не смог перескочить метровый разрыв.

А зачем взрыв? А РЖД уже купили «Сапсаны»: миллиардная сделка, огромные расходы и прибыли. А тут — качество дороги не соответствует таким скоростям! Скандал, расследование, имиджевые потери и убытки. Социальное недовольство. И компенсации раненым и родственникам платить. Приличествует — немалые.

А с террориста — взятки гладки. Смерть террористам! Все их ненавидим, убийц! Как потом убили нескольких — вот он, злодей, и фотография трупа как документальное подтверждение. И хрен он тебе возразит.

Ну — за всех, кто не доехал до места назначения! Кушай, не стесняйся.

— Так, чего я хотел еще? А — про Березу. Не, как он удавился — я не в курсе, там не был. Английский суд постановил: удушился, а как — хрен его знает. Я английский суд уважаю. Он и Томаса Мора к отсечению головы присудил. И кости Кромвеля из могилы вырыл и на виселицу повесил. Традиции прочные.

Меня другое смущает.

Вот — первые сутки. Еще никаких подробностей. Сообщили: «найден мертвым в ванной». Все. Без комментариев. Шестьдесят семь лет, бурная жизнь, сплошные стрессы и полоса неудач, думай что хочешь. Влез в горячую воду, выпив, — сердце и встало. Инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, поскользнулся на мокром кафеле — да затылком об пол. Все бывает, ничего удивительного.

И резко, мгновенно, — ток-шоу по всем каналам! Депутаты, патриоты, активисты: самоубийство! Сам себя жизни лишил, гад! Потерпел фиаско на всех фронтах, обнищал у разбитого корыта, впал в депрессию — и покончил с собой!..

Тут любой следователь спросит, подсечет резко: а ты откуда знаешь, сука, что он насильственной смертью погиб? С чего взял, что

нервный старик не окочурился нормальным порядком в горячей воде? Почему глотку рвешь, что он сам, сам с собой покончил?

Вопрос возникает неизбежно: откуда это единое мнение? У нас на телевидении сами собой хором не поют.

А почему столько шума? Почему общественное волнение? Почему потоки грязи на покойника — где православные ценности милосердные? Почему надо его именно сейчас опустить ниже плинтуса, вора, убийцу, лжеца? А вы у него с руки не кормились? В приемную к нему не сидели? Вы кому свою рьяность демонстрируете?

И тут открывается, что он перед смертью писал письмо Путину. Просил прощения и разрешения вернуться. А передал через Абрамовича. Но показать письмо никому нельзя, потому что оно личное.

Конечно, Абрамович — лучший друг покойного, особенно после того, как Береза проиграл ему суд и несколько миллиардов, сочтя себя преданным и обжуленным. Самая подходящая кандидатура для заветной услуги. Ненавидел люто.

И письмо правильное — невидимое. То есть мы имеем не письмо. А факт письма. Вернее, не факт — а сообщение о факте. И исходит сообщение из того же источника, что все предыдущие сведения.

Психолог объяснит, что первым испытает порыв отвести от себя подозрения тот, кто знает, что его таки есть в чем заподозрить.

И часто делает это раньше, чем его спросили. Без всяких психологов в народе это называется «на воре шапка горит». Ни в чем не виновный человек никогда не додумается публично отводить от себя подозрения раньше, чем они проявились и высказаны. Подобная торопливость и категоричность в доводах — психологический, косвенный признак абсолютно недоказуемой вины.

А их к делу не подошьешь. Их принимают в расчет только бандиты, разведчики и честные следаки, которых уже нет.

Поэтому сейчас мы выпьем с тобой за Господа нашего Бога. Потому что больше никому верить нельзя. Поэтому нам остается верить только в него. Иначе уж совсем все фигово.

Поехали.

А Боженька — Он не фраер: всю правду видит, да не скоро скажет. Но скажет.

Скажи мне, братан, — как мне после этого всего жить в этой стране? А ведь их кто-то выбирал, за них кто-то голосовал, им кто-то верит: их народ, народ из своих рядов выдвинул, они из народа, вот в чем штука.

Это я к тому братан, что когда ты никому не веришь, в не веришь потому, что знаешь твердо — нельзя им верить — вот тогда ты лишаешься очень даже главного. Ты лишаешься дома внутри себя самого. Можно быть псом бездомным, крысой помойной, но если есть внутри тебя твой дом, в твоём уме и душе одновременно, ты всегда остаешься человеком, братан. Устой у тебя есть. Мир у тебя есть.

Тебе есть к чему прислониться и где укрыться от любых невзгод. Потому что если есть для тебя правда, справедливость, добро, вера в лучший день — тогда все еще ничего. А вот когда ничего этого не осталось — вот тогда ты бомж настоящий, по жизни бомж, по сущности своей.

Вот поэтому, братан, я здесь, и скоро перейду из врачей в пациенты, и будет мне новое платье короля с рукавами, которые завяжут на спине. И плевать, знаешь.

Ну — давай выпьем.

...Вот такую историю я услышал от милого доктора, когда года полтора назад в последний раз собрался с силами, привел себя в порядок, начал получать документы, в ночлежке меня сделали старостой, и из последних сил я попросил направить меня в психоневропатологу. И со страшной депрессией попал в дурку. Я ему сказал, кем я был, и он проникся. Удивительно это все. Умный был мужик. Хороший. Он стал исповедываться мне.

Мне скоро стало легче. Я понял, что никогда не поднимусь, страшно мне это, не хочу я этого. Я успокоился насчет своей жизни. И депрессия прошла.

Я только тут одного не понимаю. Я понимаю, что у меня бывает спутанное сознание, я помню это выражение, вернее даже термин, я понимаю, что у меня в памяти иногда как будто календарь пересыпается, как калейдоскоп, и соседние события разносятся далеко-далеко друг от друга, а события во времени далекие,

наоборот, вдруг стыкуются рядом, одно прилипает к другому, и в голове происходит путаница. Нет, я это все понимаю. Но неужели этот доктор был мой друг Боря Калашников? И я что же, его не узнавал? А если узнавал — то забыл? И поэтому он и вел со мной задушевные беседы, что мы были друзья, и любили друг друга, и он это отлично знал, как же иначе, а я, травмированный на всю голову урод... А может, я ему тоже так же отвечал?

А если я это все точно вспомню, то какая мне от этого разница, вот что страшно, пока не забыл об этом думать...

А он через полгода ввел себе восемь кубов морфина. И когда его нашли, лежал с очень даже счастливой улыбкой. Я потом спрашивал.

Мальчик по вызову

Под конец пути человек пытается понять, как он попал туда, куда попал. Что тут судьба, а что случай. В чем закономерность твоей именно дороги. Где был тот первый поворот, с которого все и началось.

Еще под конец пути человек вспоминает хорошее. А что у мужчины могло быть хорошего, если он потерпел поражение на всех фронтах? Только женщины.

И вот если утром лежать тепло и удобно, и ничего не болит, и сушняк не мучит, и можно еще не вставать — о чем думаешь? О бабах думаешь. Все хорошее вспоминаешь. А где

вспомнить нечего — там по своему желанию дорисовываешь. Меня уже давно не заботит, что по утрам не стоит. Да и по вечерам не маячит. Жизнь такая, давит сильнее солдатского брома. Думать это не мешает.

Я и думаю, неужели те две истории после восьмого класса стали началом моего пути сюда. Расплата за неположенное счастье? Я никогда не мог в глубине души отделаться от чувства вины за это. Не то за свою порочность, не то огреб не по чину сладкого.

В то лето маме пришла в голову идея снять дачу. Для здоровья. Чтоб я лучше креп. Ну, и сняла на июль-август комнату в ближней деревне над речкой, километрах в пятнадцати от города. Внизу была дорога с автобусной остановкой — она ездила на работу всего полчаса.

В этой деревне еще семьи отдыхали, у нас образовалась компания одного примерно возраста, на речке загорали, в волейбол играли. А на речке по выходным людно было, и две такие бабы ходили иногда загорать — я на них все пялился. Взрослые чувихи, лет по двадцать, наверное, точно не школьницы. Купальники — почти нет их. Внизу живота — не шире ладони. Попы почти голые. На груди еле соски прикрыты. И прохаживаются вдвоем взад-вперед по берегу. Загорели не очень, но смотрятся обалденно.

А в августе народ как-то разъехался. Пусто и скучно. И вот сижу я на бревнах у нашего забора — та одна по дорожке мимо спускается, пляжной сумкой помахивает.

— Как вас зовут? — спрашивает. — Пойдемте купаться?

У меня голова закружилась. Я ни одной девочки даже за руку не держал. «Сейчас, — говорю, — одну секундочку!» Надел в комнате плавки и с полотенцем помчался.

На берегу она скидывает свой халатик, и вся почти голая в этом купальнике стоит рядом. Доходит до воды, спотыкается, ойкает и берет меня за руку. Опирается, значит.

Мы с ней поплавали, потом встали у берега по шейку и начали играть: она меня взяла за руки, и мы вместе подпрыгиваем. Лифчик ее, синяя лента в желтый горошек, соскользнул вниз, и груди вылетают над водой и прыгают. Верхняя их половина загорелая, а нижняя белая, а соски бледнокоричневые. Она перехватила мой взгляд: «Ой, — говорит, — извини». Закрыла их. Они снова из лифчика выпрыгнули. А она слегка улыбается смущенно, но не особо-то смущенно.

Берег пустой, переодевались мы за кустами, она под халатиком купальник стащила, а я под полотенцем с мокрыми плавками вожусь. Она говорит: «Ты мне купальник не выжмешь?». И протягивает — а халатик незастегнутый разошелся. Живот загорелый, бедра загорелые, и между ними — коричневый волосатый треугольник. И над курчавостью — тонкая незагорелая полоска. Я окаменел. Смотрю и не дышу. Она говорит: «Ой», и запахла, довольно спокойно.

Я выжимаю деревянными руками ее купальник и чувствую не понимаю что. Кошусь вниз — стоит под полотенцем... Она хихикнула так: «Все равно ты меня уже видел», — и дерг за полотенце. Я неживой, сейчас упаду. А она со смешка в шепот: «Ой, какой хорошенький...» — и хватить рукой. А я без сознания. Кроме ощущения в том месте — вообще больше ничего в мире нет.

«У тебя уже были женщины?» — спрашивает. Я говорю: «Нет», — а звука не получается. Мы отошли в заросли подальше, и она расстелила свое покрывало для загара. Сняла халатик и потянула меня лечь рядом.

Меня оглушило. Мы друг к другу повернулись, обнялись, прижимаемся, я в нее вцепился, круглое и мягкое мну, и упираюсь как раз там. Не может быть, неужели это правда. А потом, наприжимавшись, она садится надо мной на корточки и говорит шепотом: «Хочешь посмотреть?», и мои руки прикладывает себе под незагорелые полушария поддерживать. А я у нее все вижу, и невозможно это на самом деле. А она своей рукой его приставила и сверху ее медленно-медленно насадила. И двигается. А я смотрю ей то в лицо, то туда, как он входит. И этого не может быть.

Вот такой у меня был тогда первый раз. И это было в миллиард раз лучше, чем представлялось раньше. Я даже не понимал, красивая она или нет. Она была единственная.

А назавтра она уехала сдавать очередной экзамен в институт, и больше я ее не видел. И еще неделю меня шатало, и только она перед глазами и стояла во всех видах.

В субботу мама пошла с соседками за ягодами, а мне дала денег и поручила сходить в магазин за хлебом и если будет, то еще купить масла и сыра, а то в городе вчера не было, когда она уезжала. У нас лавка была захудалая, а нормальный магазин в ближнем поселке, минут двадцать по тропинке через заросли напрямик. Я выкупался с утра и пошел.

На полпути вижу — тетка на полянке загорает. В таком возрасте всех теток глазами шупаешь. В красном купальнике, загар слабый, буфера здоровые, и в трусах треугольник округлый такой, выпуклый, так и выпирает. У меня даже во рту пересохло. Блондинка с крашеной шестимесячной завивкой. Лет, ну не знаю, за тридцать, может под тридцать пять. Мамистая такая тетка, хозяйского возраста.

Она приподнялась и окликает:

— Молодой человек! Вы не в магазин идете случайно?

Да, говорю, в магазин. А что?

Она садится на подстилке, роется в пляжной сумке, достает кошелек: вы, говорит, не купите мне пачку сигарет, болгарских, с фильтром, там «Ту-134» должны быть? Если обратно тоже здесь пойдете. Да, говорю, конечно, пожалуйста. Подхожу за деньгами... буферищи там — обалденные. А она села, а из красных плавок между бедер торчат несколько волос-

ков — рыжих, завитых как спиральки. Я как-то с перерывом вдохнул, а она взгляд мой перехватила и как сидела, так и осталась.

А я иду в магазин и думаю, особенно когда уже обратно: я же красивый парень, тоненький, стройный, черные кудри, черные глаза, я могу сколько угодно, Ирка милая неделю назад сама сказала, а бабы же действительно это сами все хотят. А чем черт не шутит. Когда ты уже не мальчик — сразу иначе себя чувствуешь.

Подхожу к тому месту, там желтые ромашки по краю колдобины — и сердце упало. Нет ее. И вдруг:

— Вы уже пришли? — Это она в тень отползла, поближе к своему кусту, а там трава высокая.

Отдаю я ей сигареты, она распечатывает: а вы не курите, хотите? И протягивает. Закурил, конечно (хотя на самом деле курил редко и не взятяжку, с пацанами в компании). И сажусь с ней рядом. Жарко стало, говорит, а вам не жарко? А меня так нагрело, вот посмотрите: и руку мою кладет к себе на бедро, горячее, гладкое, большое такое, и прямо рядом с самой с этой самой. Я пальцы невольно ее плавкам придвинул, а она будто не чувствует и говорит: давайте я в тень поглубже перееду.

Помог я ей перетащить подстилку за кусты, но сам не верю. Уж больно она взрослая, по возрасту совсем чужая. Но конечно возбудишься тут. А она ложится, но не посередине, и говорит: не устали, пока ходили? Хотите отдохнуть? Ты рубашку сними, а то жарко.

Я снял рубашку и, как само собой, треники, в которых в деревне ходил, и лег рядом. И лежу на спине. Мы так минуту лежали, и оба, кажется, делали вид, что просто лежим. А потом она слегка погладила меня по бедру и спрашивает: «Тебе нравится большая грудь?». Я горлом задышал, глаза, видимо, вылупил — а она встала на колени и сняла, очень просто, свой красный лифчик. Выкатились такие белые арбузы... круглые, на вид тяжеленные... и большие розовые соски, с круглыми изюминками посередине.

И вдруг — у меня в голове мысль! — неужели это так просто? И разочарование, что так просто. И то, что происходит, даже теряет свою ценность. Типа невелико и событие. И даже легкое высокомерие и презрение к ней, что она так откровенно и первая этого хочет и готова. Подл мужчина (но это я уже на завтра подумал, когда вспоминал). А тогда это продолжалось... ну, несколько секунд, наверно. А потом у меня колени затряслись и захотелось безумно, себя не помню.

А она говорит с такой учительской улыбкой: «Хочешь потрогать?» И наклоняется надо мной, и два эти колокола сходятся и отвисают, я за них хватаюсь, она ниже склоняется, эти суперсиськи прямо у меня на лице, и я их целую, как сумасшедший. А она пальчиком мне через трусы — тень-тень-тень по флагштоку — и стащила. И тихонько-тихонько пальчиками его гладит.

Вообще мы все знали, что минет существует, но теоретически: что-то такое нереальное и только с неизвестными последними шлюхами. А тут она меня целует в шею, в грудь, ниже, в живот... неужели???... приближается... и медленно-медленно раскрывает губы и берет в рот. И там небывалое ощущение, нет сил перенести, наслаждение становится мучением, у меня руки-ноги дрожат, а она, не переставая, снимает свои красные трусы и в эту рыжую пушистую мочалку сует руку и там теребит. И внутри меня взорвалась атомная бомба.

Попался я оголодавшей распутной тетке в цвете зрелой молодости. И пал жертвой ее неудовлетворенных сексуальных фантазий. Я бы такой жертвой только бы каждый день и падал. У нее там было такое основательное розовое хозяйство, клитор размером с мизинец, а внутри она умела сжимать, будто в кулаке. (Я сравнил скудость Иркиной женственности.) У меня хватило ума сказать, что она у меня первая, так она вообще с ума сходила, что невинного мальчика растляет.

— Больше, — говорит, — мы с тобой никогда не увидимся. И ты никогда не узнаешь, как меня зовут. А я — тебя. Но ты меня не забудешь, правда? Тебе было хорошо со мной? Ты не думаешь обо мне плохо?

Я чуть не засмеялся. Прямо почти истерика. Какое может быть плохо, когда так хорошо!.. И несколько я в этот момент не жалел, что больше никогда ее не увижу. Даже облег-

чение было. Я смотрел в будущее, и оно было усеяно бабами всех видов и мастей.

М-да. А на самом деле прошел год, и другой, и я кончил школу, и никого у меня больше не было. Как-то не получалось. Не нравился мне никто настолько, чтоб я расстилался и ухаживал. И никаких этих штук с женским самолюбием не переносил — сразу шли на фиг. Какой-то я оказался незадачливый. Такое начало — а дальше одни пролеты.

...После школы поступал я в наш машиностроительный, не поступил, работать надо идти, до армии год еще. И стало мне стыдно и досадно. Стыдно, что работать я не хочу, вообще. И досадно, что придется, куда денешься.

Хожу днем злой по городу. Будущее мутное. Денег шесть рублей скопленных-зачащенных. Зашел в кооперативное кафе «Ракита» — кофе выпить, покурить как белый человек, сто грамм взять. Подумать о жизни, с мыслями собраться. А там хоть день, но народу полно — время-то еще советское, вечером вообще никуда не попадешь. У стены столик придвинут на три места, одно свободно — две бабы болгарский сухарь пьют. И только я к ним сел официанта дожидаться — чувствую: что-то такое в воздухе возникло. Они на меня не смотрят, сами по себе, но все тут рядом и друг друга видят. Они хорошими духами пахнут, и хоть за тридцатник явно, но возбуждение распространяют: явно озабоченные бабы. В восемнадцать лет это очень чувствуешь.

Принесли мне кофе и стопарь, и та, которая шатенка, спрашивает так шутливо: «Молодой человек, не рано ли в час дня водку пить?» Я взбесился от ее учительского тона и грубо отвечаю: «Водку пить никогда не рано. И не поздно». — «Ах, — говорит, — никогда еще не видела такого юного алкоголика. Все студенты пьют, потом это проходит. Вы на каком курсе учитесь?» А глаза у нее светло-карие, большие, и этими глазами она меня словно лизнула в лицо, я ощутил это, буквально такое ощущение, как собака ласково лизнет, только нежнее. Тут мне брюки малы и стали.

Короче, они меня угостили после водки своим сухим, я врал про институт, уводя разговор в сторону, вышли мы втроем, они попрощались друг с другом и шатенка пошла со мной, спросив, не занят ли я. Я ее проводил, она мне чаю, однокомнатная квартира. А я чего-то злой. Хочу ее, а сам злой. Прямо в прихожей ее облапил, довольно грубо и как-то свысока. Пошлет меня — и хрен с ней.

Потом я понял, что они от этого тащатся. Даже если ей обидно — она не хочет тебя послать, она хочет, чтоб ты был с ней шелковый, и ради этого идет на многое. А на самом деле — шелковым надо быть изредка, для контраста, тогда они балдеют. А остальное время — хозяйским таким, ставить себя выше ее. Мужественная грубоватость — это элементарно. Особенно если ты все время хочешь и можешь.

Вот так наступил лучший период в моей уродской жизни — я стал жиголо. Не зная этого слова. Но быстро узнав это дело.

Шатенку звали Галина Алексеевна, и укатал я ее, как сивка бурку. Что хотел — то и делал: и в койке, и в ванне, и в кухне на столе — для интереса. Уже стемнело, когда я домой собрался. А отдыхая в перерывах — раскинулась голая на простыне и дым сигаретный пускает — она нежно так расспрашивала о моей жизни. А я ей вываливал правду.

А перед дверью она прижалась всем телом и спрашивает: еще придешь? Дел много, говорю. Она из сумочки достает десять рублей и объясняет, что просто мне пока одалживает, молодым надо помогать, потом я отдам. Так я еще приду? В четверг, часа в три? Ну — все ясно.

Шел я домой потрясенный. Натрахался как кролик, всяко как хотел, так за это еще денег дали. Рассказать кому — не поверят.

А перед пятым свиданием — точно помню — в квартале от ее дома меня перехватила та подруга. И сказала, что ж я к ней никогда не загляну, вместе же тогда познакомились? Только ни в коем случае Гале не проболтайся, понимаешь? Я понимаю. Хотя еще не верю. Она, Лариса, с лица хуже будет, зато сиськи больше. Мне даже интересно стало.

Лара телом была не очень — но так стонала и кричала, я не слышал и представить не мог, среднее между оперой и убиваемой кошкой. Когда она скакала сверху, ее круглый гладкий живот отчаянно шлепал в мой —

шлеп! — шлеп! — шлеп! — а груди летали вниз-вверх до плеч: возбуждает страшно.

Она стала приставать, чего я к Галке шляюсь, мы ж обе старухи для тебя. И достала. Я разозлился и вывалил про свою жизнь и цену наших отношений. А сам думаю: интересно — погонит или денег предложит? Ха, погладила по щеке и заплатила как миленькая. Ту же десятку. И на свою десятку все исповедаться пыталась: что мужики сволочи, что женщине трудно, что я для нее подарок судьбы, только ни в коем случае чтоб никто не знал.

Маме я сказал, что устроился работать в кооператив младшим менеджером — тогда это все буйно развивалось как раз. Зарплата не фиксированная, с бонусов, но вообще должно быть неплохо.

И вскоре действительно стало неплохо.

Подруги, конечно, вскоре все друг другу рассказали. Эка невидаль, у двух баб один любовник. Но тогда я почему-то разозлился страшно. Мы втроем как-то встретились, и они стали надо мной посмеиваться, словно они значительней меня, а я у них прибор для онанизма. Я психанул и ушел.

И пошел в кабак. В крутой, в «Пингвин». А капуста уже было. Швейцару чирик, мэтру или как там главхалдею сразу пятерку — к бабам посади. А он с понятием, халдей! Сейчас, говорит, подходящих для вас нет, но попозже народ подойдет, я к вам подсажу. И через час, я сухое тянул, пересаживает меня официант от компании, где я сидел, за только что убран-

ный столик, и проходят к нему две бабы. Е-ка-лэ-мэ-нэ, да им лет по сорок!

Но дамы оказались с пониманием. Через пять минут мы познакомились, заказ они взяли на себя, и вообще всю инициативу взяли на себя. И к одной из них я вечером поехал. М-да. Но все равно приятно. В перекуре я цинично сказал, что это стоит десять, чтоб недо-молвок не было. А она так разнежилась после своих оргазмов, заворковала, что такой сладенький мальчик стоит гораздо дороже. Ну — ты сказала.

Дальше нет смысла рассказывать. Я брал десятку за час и двадцать пять за ночь. Маме отдавал двести рублей в месяц — больше она бы просто не поверила, хоть и кооператив. И если был занят вечером или ночью, придумывал про торговые встречи, необходимые для дела корпоративные бани и прочее. Что ж — я был уже взрослый. Мама ко мне иногда принюхивалась, но, по идее, думала, что у меня просто роман.

Романы у меня были на конвейере. Швейцар из «Пингвина» оказался полезнейшим человеком: за отстежку прямо сообщал, есть ли клиентки, или ожидаются. Я познакомился с проститутками, которых он тут как бы курировал. Но что характерно: я себя проституткой и близко не мыслил! Если девочки были платными подстилками — я-то был покрывалом, который еще и деньги брал: хрен я буду крыть вас бесплатно, клячи, я вам одолжение делаю.

Все-таки женская и мужская психология — разные вещи.

Сексуальная жизнь играет огромную роль в судьбе человека — инстинкт размножения, как никак, природа, — вот я на этом всем так подробно и останавливаюсь. Сексуальные фантазии посещают мужчину сколько-то раз в час, а бездельника еще чаще. Смотришь на кирпич, а думаешь о пилотке, ничего не поделаешь.

О каждой из моих платных баб можно рассказывать отдельную историю. Какие они были, да чего хотели, да чему учили и так далее.

В восемнадцать лет юноша может совокупляться с беличьими дуплами. Это уже должна быть исключительная коряга, чтоб у него на нее не встал.

Натрахался я на всю оставшуюся жизнь. Правда, юных и даже реально молодых не попало. За тридцать и до упора. Хотя пара была очень красивых, вот что поразительно! Но — немолодых. А мне тогда после трехсот грамм коньяку было все равно в кого втыкать. Меня от бабы в принципе трясло.

...Н-ну, а потом я ушел в армию, и началась другая жизнь, а после армии еще более другая, а потом совсем другая — и вот я здесь, господи!

И я пытаюсь понять: что плохого я делал? Они были взрослые, вменяемые, хотели сами и добровольно, по собственной причем инициативе. Деньги давали по уговору за то, что хотели получить и получили.

Может, я выбрал свой лимит хорошей жизни?

А может, есть общее между проституцией и финансовым бизнесом, и одно перешло в другое? И дело тут в сходном внутреннем состоянии и подходе к жизни?

Или — проституция всегда путь на свалку, каковы бы ни были промежуточные станции? А почему в Европе проститутки проходят в парламент? И богатеют на тиражах мемуаров.

Или — если нет твердых моральных устоев, из любой стартовой точки кончишь свалкой? Ага: расскажите про мораль олигархов. А бывшие порядочные люди почему здесь?

Спасибо Господу за все хорошее, что было, не дано нам постичь Его промысел. Пора посрать и идти найти выпить.

С приведением характерных высказываний

Синяк: Чтоб они все сдохли. Они хуже нас. Мы, по крайней мере, друг друга не жрем. И если есть лишнее, корефану поможем: сегодня ты ему, завтра он тебе, может. И никому не мешаем. Страну не раскрадываем. И денег на нас не тратится, пенсий не дают. Они жестокие. Думают, никогда сюда не попадут.

Федя: А вот ментов я бы посадил всех. Оборотни в погонах. Ни хрена не оборотни, это бандиты в погонах. За деньги любые вопросы решают. А нет денег — что хотят, то с тобой и сделают. Наркоторговлю крышуют, разлив па-

ленной водки крышуют. Я бы каждое утро отстреливал пару ментов. Перед завтраком. А потом съедал бы их завтрак.

Горшок: *Смотришь — чистенький такой, одет, сука, дорого так, из тачки вылезит — атас тачка. А к лицу приглядишься — ох и воняет он там, внутри себя. У него взгляд вонючий, у него в башке мысли вонючие, и чувства у него все вонючие, только как себе все захватить и всех продать.*

Седой: *Все в этой стране бомжи! Все! Ни у кого ничего нет — и даже души нет! Вот ты представь — и врачи, и менты, и чиновники, и продавцы, — любого можно на улицу выкинуть! С работы, из дома, отовсюду! По жизни голодранцы, в душе голодранцы, и мозги у них голодранцев! И правит ими бомж, какой он президент, и олигархи их бомжи, и министры бомжи! У них психология бомжей: урвал кусок, прожил день, свалил в нору потеплее — вот и вся жизнь! Вот я как кого увижу — представляю его бомжом — и сразу зла нет, и жалко его: что он бомж, у него на лбу написано!*

Алена: *Проститутток сколько, и красивые какие. Устраиваются девки — с каждой палки еще и деньги брать. А все бабы путаны — кто за бабло, кто за спокойную жизнь, кто защиту получает за мужней спиной. Нет никакой любви, не верю я в нее, навидалась.*

Белинский: *Все мы — жертвы несправедливого общества. В нашем обществе не хватает милосердия, доброты, гуманности. Любовь к ближнему всегда занимала главенствующее место в великой*

русской литературе. А в жизни любовь, увы, так редка. В кино любовь всегда красива. А ведь человек снаружи бывает мерзок, а душа его может оставаться прекрасной. Но от мира он получает только брезгливость, только пренебрежение.

Кандида: Никто не помнит добро. Хоть помнит — а отвечать добром на добро ему тягостно. Совесть нет у людей. Эгоизм непрошибаемый. Ничего, жизнь каждому воздаст. Но иногда тоска заедает: сволочи процветают, а хорошие люди страдают. Не в том дело, что у нас зубов нет за жизнь грызться. А в том, что в этой жизни справедливости нет, так за что грызться тогда.

Петюня: Человек всегда виноват перед законом. И любовь всегда виновата перед законом. А человек не виноват, что не может управлять своей любовью, это всегда знали. Нельзя репрессировать представителей сексуальных меньшинств. Древние греки жили с мальчиками, и ничего, культуру всей нашей цивилизации основали. Ну расстреляйте меня, давайте, повесьте. А потом других перешлепают, так и до вас доберутся.

Пирамида: Секретутка моя милая эту половицу откуда-то вычитала: «У богача за спиной стоит черт, а у бедняка — два!». Когда я был в замке король, я был добрым и щедрым. Убивать никого точно не хотел. А сейчас могу убить запросто, не жалко никого: что они есть, что их нет. Бедный человек страшнее богатого.

Андрей (несовершеннолетний): Не хрен о них всех вообще говорить. Я бы хотел свалить в

Америку. Там все круто. Со Шварценеггером познакомиться и со Сталлоне, ну, не руку даже пожать, автограф, может. Накачаться и пойти в «морские котики». Тогда суки все у меня попляшут.

Болезнь

Заболеть — это уже наполовину сдохнуть. Болеть нам нельзя. Это привилегия полноправных граждан. Постель, лекарства, врачи, больничный. М-да: жить-то свободным хорошо — подыхать только плохо.

Где меня продуло — хрен его знает. По пьяни же разогреваешься и сквозняков не чувствуешь. И земли холодной не чувствуешь, а потом обрубись — и вообще ничего не чувствуешь. И проснулся я оттого, что меня ломало. Крючило, плющило и колбасило. В теле жар, суставы выкручивает, грудь заложило. Колотит меня и в башке даже слегка гудит. Явно температура охрененная.

Ну что. Горячее пить надо. В тепле лежать надо. А я лежу.. я где вообще?.. вот суки, так и бросили. Я под дождем лежу, мокрый насквозь, почти что в луже. Ничего себе «продуло». И темно. Времени не сообразить. Это начало ночи, вечер, или утро скоро?..

Тихо кругом. Дождик шуршит. Редкая машина вдали проедет. И в домах всего несколько окон горит. Скоро утро, значит. Ночь под дождем пролежал. Конец мне.

И когда я понял, что мне конец, стало мне удивительно спокойно. Прямо отрадно стало. Ничего я не хочу, никого я не ненавижу, и теперь уже вовсе ни с чем бороться не надо. И ничего я не хочу делать. Спокойно уснуть, и все, и нет ничего желаннее и слаще: отдых после мучительного пути неизвестно куда.

Но это тоже, наверно, привилегия полноправных граждан. В чистых постелях, в теплых комнатах. Потому что лежать в мокрой одежде на мокрой земле ничего хорошего нет. Я согласен умереть, но чтоб не так холодно и противно, чтоб не колотило так, аж зубы заляскали. И пить я хочу, вставать надо. Суки, что ж они меня бросили. Сами, поди, еле уползли.

Так. Сначала надо свалить с дождя. В тепло. Отогреться и сменить хоть рубашку. У меня в сумке есть.

В подъездах я ночевать избегаю. Увидят — выкинут, а могут избить. Рук-то они, злые, не марают — они тебя ножками стопчут. Они здоровые, которым нравится бомжа потоптать. Но тут выбирать некогда.

Подгроб я к ближней пятиэтажке, зажигалкой посветил: на кодовом замке нужные клавиши всегда стерты. Открыл их железную поганую дверь; все они, суки, живут за железными дверьми. Духовный народ, мля. И пошел на самый верх.

Поднимаюсь по лестнице и чувствую, что реально прихватило. В груди свистит и дышать больно. Может, бил меня кто, а я не помню?.. Еле приволокся на верхнюю площадку. Снял с

себя все, выжал, футболку передел сухую и трусы. Хорошо, что сумка из синтетики, воду не пропускает. Носки тоже сменил, есть у меня. Но холодно так. Из дверей с крыши дует. Пришлось верхнюю всю одежду надеть обратно влажной.

А уже не очень соображаю. Я сумку оставил наверху, и прошел по лестнице — насобирал три половичка, где у квартир не резиновые коврики, а обрезки дорожек или еще что тряпичное. Два половичка подстелил снизу, один на себя сверху — и провалился.

Проснулся от кашля. Почти сразу, наверно. Лающий кашель, режущий, больно в груди. И в горле больно.

А внизу уже дверь хлопает. Окно на площадке серое. Утро началось.

И поднимается ко мне один. А ведь ровесник, наверно. Не знаю, лет под пятьдесят. Самый злой возраст. Самый жестокий.

— Та-ак! А ты здесь что делаешь?! А коврики чего набрал? Вшей тут напускать. А ну по-шел!!

Я объясняю, типа отец родной, разреши еще чуток полежать, уйду я, ничего не прошу, приболел просто, согреться хотел.

Пнул он меня по ноге, больно так:

— Пошел! Срань вонючая! Еще по подъездам гадят! Ну!!!

Злой мужик. Чего спорить. Пошел я.

А дождь еще не перестал.

Уже окна светятся, народ из подъездов выходит, мне б до моих труб теплых дойти, да

они, похоже, на другом конце города, как меня сюда занесло. Иду вдоль соседнего дома — один подъезд открыт. Не выдержал — вошел и быстро наверх.

И уже на пятый поднимаюсь — навстречу парень спускается. Конкретный качок, нос боксерский по щекам размазан, в дешевой кожаной куртке. И смотрит на меня. Глаза — светлые щелки. Убийца.

Достает он бумажник, из бумажника сто рублей, подает мне и тихо приказывает — даже не приказывает, а просто говорит, что мне дальше делать:

— Иди отсюда.

— Спасибо, — говорю, — сынок. Хорошего тебе дня.

Не мой день. Не могу больше в подъезд идти, опять выкинут. А уже голова кружится и ноги слабеют. Точно температура прет.

В больницу я двигался без всяких мыслей. Кашляю, грудь и горло режет, а я на свою харкотину смотреть боюсь: если кровь — значит, смерть пришла.

Добрел. Приемный покой. На дверях охранник. Куда? Да подыхаю, говорю. Какой-никакой — человек все же. Воспаление легких, подлечиться бы надо.

— Направление есть?

Да какое же у нас направление. Направление на кладбище, но неохота пока все же.

— Постой здесь!

Скрылся, вышел:

— Вам надо в поликлинику. Здесь с улицы не принимают.

По указанному адресу потащился я в поликлинику. Иду и понимаю, что фигню я порю. Никто меня нигде без документов не примет. И даже нельзя их за это осуждать. Такой закон. В морг примут, а больше — никуда.

Дождь перестал, но у меня кроссовки мокрые, все влажное на мне, изнутри у тела тоненький теплый слой, а чуть не так повернешься — и мокрое-холодное к телу липнет. А уже не колотит. Уже чувствую, как пышет от меня, даже руки горячие стали.

Прихожу в поликлинику. В регистратуру толпа, одежду сдают в гардероб, свет от ламп какой-то тоскливый. Ну что, за номерком вставать надо. А кто ж мне даст номерок без карты, без паспорта и без прописки. Народ на меня косится дико, морщится, отодвигается. Передо мной тетка толстая в мохеровой кофте и какой-то волосатой юбке, так у нее уж шея стала малиновая от возмущения, шипит под нос типа ходят тут черт-те кто. Постоял я минут пять неизвестно зачем и отошел к дверям.

Нянечку попытался отловить, со всей вежливостью:

— Можно один вопрос?

А нянечка, старушка-помело, покрикивает тут на посетителей, расхаживает, самоутверждается.

— Какой такой тебе вопрос? Ты что ж в таком виде в медицинское учреждение идешь?

Короче: нет паспорта — нет медицинской помощи. По месту жительства. С предъявлением документов.

Я и так знаю, что я в вашей стране не живу. Я промеж вас — в другом измерении.

До чего злоба доводит: не могу охраннику вмазать — так хоть старушке сейчас чуть в рыло не дал. Клятва Гиппократа. Ну духовный народ, ну суки позорные.

Уже светло, день, и я в злобе, намерен сдохнуть с музыкой и хлопнуть дверью на прощание, иду к их долбаному приюту. Центру социальной адаптации или как вас там. Я ваш суп не жрал, ваших вещей не брал, вы на меня из бюджета деньги получаете — лечите, твари.

Сука, я уже иду с настроением помирать так с музыкой. Я уже чувствую себя покойником, которому все уже по фиг и в гробу он всех видал. Я не хочу больше жить. Я сдохну геройски. А вам всем плюну в рожу.

И я тарабаню в двери приюта их долбаного, как рука судьбы, как палач. Я хочу сдохнуть у них на пороге и сказать, что они все дерьмо.

Не та страна. Козлятушки-ребятушки — не та страна. Здесь тебе самому объяснят, что именно ты-то дерьмо и есть. По любому поводу.

Потому что вылез охранник — молодой, злой, опасный — и процедил, как змея шипит:

— Ты чего колотишь, дерьмосос, ты чего колотишь? Голову хочешь расколотить? Так это можно.

Сынок, объясняю, болен я, бездомный, температура высокая, помочь мне надо, не подыхать же здесь у вас на пороге.

Он от кашля моего отворачивается и говорит:

— Куда я тебя на хрен пушу, нет мест, приходи в три часа, может кто уйдет.

Да хоть дежурного там кого позови, милый, что ж такое, ведь я же имею право, в самом деле, ведь на это деньги из бюджета специально отпущены...

— Тля, какие вы все нынче образованные насчет бюджета! Стой здесь, подожди!

Я подождал, а потом сел на крылечко-то, голова как-то кружиться стала, и вообще поплыл. Вышла наконец дежурная — типа медсестры, в зеленом костюме вроде униформы... а может, в глазах у меня все позеленело.

— Документы хоть какие есть? Вообще никаких?

Я кашляю — всем видом изображаю любовь и слабость.

— Да ты мне тут всех перезаразишь! Тебе в инфекционное надо. Сиди — сейчас вызову тебе.

Сидел я часа два — проваливался то в сон, то колотун меня будил. Мечта о больнице меня расслабила. У них завтрак прошел — мне вынес охранник кружку не очень горячего чая и таблетку аспирина. Вот за это спасибо.

Приехала «скорая» и начала скандалить:

— Куда мы бомжа без документов возьмем? Всю машину засрет, и потом все равно не примут никуда! Вы что тут — первый день, что ли, все ведь знаете прекрасно! Вот и берите его себе, у вас врач принимает? — принимает. Вот когда придет — тогда и примет.

И по тону сразу ясно, что никуда они меня не возьмут. Слова можно даже не слушать. Да — бросят подыхать. У них свои инструкции. И уехали на хрен.

Охранник приказывает — уже не зло, но твердо:

— На сто метров отойди. Отойди, сказано — нет? Посиди там, здесь не свети.

Сестра — из-за плеча:

— Не можем мы тебя принять, больных мы не можем.

Чтоб вы все сдохли. Это еще надо посмотреть, как вы сами сдохнете, когда до вас очередь дойдет.

Ну что. Сумка у меня пристегнута к колесикам, везти не трудно. Пошел я на хрен. К трубам к своим пошел.

Маршрут прокладываю от скамейки до скамейки. Опущусь и соображаю, где следующий скверик или вдоль тротуара скамеечки. Посидеть, отдохнуть. А то с земли подниматься тяжело. Есть автобусные остановки, конечно, но там среди людей нашему брату тереться не рекомендуется. Всяко нарваться можно. Особенно если всех обкашляешь. Одного прошлой зимой вообще облили бензином да подожгли подростки. Правда, ночью, в подвале. Пьяный спал, говорят. Народ у нас добрый.

У аптеки на Комсомольской я постоял, высматривая подходящую старушку, чтоб лицо доброе было. Идет бедная чистенькая бабуля — самое то. Дал ей стольник того пацана (спасибо тебе, хороший человек), и она купи-

ла мне аспирин, нашего, дешевого.

А возле супермаркета другую старушку — толстенная, но веселая, с такими хорошо — попросил еще банку сгущенки взять. Разводишь кипятком — и пьешь горячее сладкое молоко, первое дело.

И как-то я постепенно разошелся. Одежда сверху еще влажноватая, но изнутри вся сухая. Кашель меньше, вроде, стал, и мягче как-то: уже не дерет гортань ножами, а мокрота отхаркивается. И посветлело, тучи разошлись, солнце греет, хоть и слегка, осеннее. Через парк бреду, напрямки чтобы, присел передохнуть, а то ноги слабые стали — а на голых кустах сели воробьи и чирикают. А это ведь не весна, они осенью молчат обычно.

Но — выпить надо, выпить надо! Алкоголь — он разгоняет кровь, разжижает мокроту, прогоняет лихорадку. Не для пьянства сейчас, клянусь, не для кайфа — для здоровья ведь необходимо! Еще бы лимон и чеснок, но это уже мечты, это блажь, мы уж так как-нибудь.

Раздумал я умирать. Вернее, даже не так. Умереть готов, и даже с радостью. Ну, может без радости, но с облегчением — это точно. И это меня не волнует. Не беспокоит. Но и желания нет. А вот показать всем большого буя, выздороветь от этой ерундовой простуды и назло бездушным гадам жить как хочу и радоваться — вот это по-нашему.

...Если бы мне та коробка из-под обуви не попала — я бы не решился, возможно, так внагляк милостыню просить. Ее, видимо, только

что кто-то выкинул — сухая коробка, твердая. Фирма «Экко», между прочим, ты понял?

И автовокзал рядом почти, вот ведь как все одно к одному сложилось. Ну что — риск благородное дело?

Я вытащил шариковую ручку и печатными буквами, по несколько раз повторяя каждую линию, написал на чистой, внутренней стороне крышки: «Болен пневмонией. Прошу помочь на аспирин и бронхikum».

Вокруг вокзала я заложил круг и убедился, что никто сейчас там не собирает. И даже ментов снаружи не видно.

Сел я на дорожке, ведущей через газон от городских остановок к междугородным автобусам, коробку рядом поставил, крышку у груди держу. И мелочи несколько рублей, что у меня осталось, кинул в коробку. А сам от души кашляю в страдательном наклонении.

Первой девушка подала, длинноногая, в черных колготках — семь рублей сыпанула. Охранник какой-то в камуфляже бросил. А я озираюсь — как бы контролеры нищенской мафии меня не засекали. Примерно за четверть часа накидали мне больше сотни (дважды в карман убавлял), и я свалил от греха. Пересчитал — сто семнадцать рублей.

И купил по дороге флакошку.

...Пока я добрался до своего родного подвала, я уже был куда лучше, чем утром. За щитком в нише у меня хранилась дровяная заначка: разломанный на досточки тарный ящик. Я сложил костерок, вскипятил в же-

стянке воду, своим сломанным ножом вспорол крышку сгущенки и отлил в кружку. Выпил флакончик, обжегся горячим сладким молоком (это хорошо), а когда на доньшке уже не горячо — запил две таблетки аспирина.

Потеплело, кашель стал реже. Я напялил на себя все, что было, и залез на свои теплые трубы. В теле была типичная гриппозная истома, болезненная, но даже приятная, если лежишь в тепле. Лежать было необыкновенно приятно.

Я проснулся от кашля ночью. А кашлять особо не надо бы. Услышит кто — вышибут вон, паразиты. Вскипятил воды, выпил еще горячего молочка с аспирином и лег спать дальше. И с интересным настроением засыпал: не проснусь вообще — вот и отлично; проснусь — тоже здорово.

Оклемаюсь я на своем лежбище. Когда кончилась сгущенка, так у меня еще чай был. И пара бульонных кубиков — полкубика на кружку. И жрать не хотелось вообще. Еще несколько вечеров трясло, конечно. И кашлял дней пять. Но ничего. Это хорошо, когда здоровье еще есть.

Угроза

Когда-нибудь мы все выйдем на улицы. Мы затопим площади, заполним скверы, зайдем перекрестки и захлестнем города. Мы пройдем маршем, это будет не марш победы, но кара и проклятие. Все бомжи великого народа, гряз-

ные, вшивые, больные. Все нищие со всех вокзалов и базаров, папертей и переходов. Все беспризорники великой страны, худые, испытанные, недоверчивые и злобные. Поползут все калеки с уродливыми протезами и вообще без протезов, на колясках и на костылях. Все наркоманы, с исколотыми венами, с гниющими конечностями, с бессмысленно расширенными зрачками. Все подыхающие от болезней, кому нет больниц и лекарств. И с нами пойдут все проститутки, кого толкнула безнадежная жизнь на это вечное ремесло, и те, кому это просто нравится. Сутенеры и бандиты, аферисты и воры — тоже пойдут с нами, накипь всегда несется с общим потоком. И пойдут все бесправные мигранты: забитые безропотные таджики и ласковые мстительные узбеки, умные деловитые армяне и затаившие ненависть украинцы. Двинутся жестокие наркоторговцы и работоторговцы, и несметная рать прислуги, ненавидящая своих хозяев. Выйдут все юнцы, не знающие, куда себя в этой жизни пристроить; все старики, беспощадно выброшенные с работ на нищенскую пенсию; сокращенные врачи и сокращенные учителя, потерявшие веру и мечтающие о возмездии; бывшие ученые и бывшие инженеры; списанные ветераны бесславных войн и профессиональные люмпены и смутьяны, вечно жаждущие бунта, крови, власти и грабежа. Эта сложная и страшная гремучая смесь достигнет критической массы и раскалится до температуры взрыва — и снесет все кругом, все, все!

И вот тогда, спасаясь и прозябая среди обломков, вы будете помнить нас. Вы будете знать, кто есть кто в этом мире и что следует за чем. Вы поймете, что безнаказанности не существует и справедливость может быть только одна на всех.

Братья, еще не поздно. Не брат я тебе, гнида. Я покажу тебе «свой», сволочь владимирская.

Чужое горе всегда обернется твоим возмездием.

Измываться можно над всеми, кроме Господа. А Он в правде.

Грех в церкви не замолишь. Грех только по жизни искупить можно.

Ждите.

Восстание масс

— Нельзя всю жизнь терпеть надругательство, брат. Мы еще выступим, не сомневайся даже, обязательно выступим. Мы готовимся, людей подбираем, на оружейные склады выходы налаживаем... жваеммм...

Глаза закатились и закрылись, губа отвисла, стал клониться вперед и рухнул мордой в пол. Из-под середины тела потянулся вбок медленный ручеек.

Не все знают, откуда у людей поперечные шрамы на переносице, надбровьях и скулах. Оознавательный знак алкаша. Они теряют равновесие или совсем обрубаются — сидя

или стоя: и не сгибаясь рушатся вперед. Как полено. Лицом на стол, на пол, на подоконник, на что придется.

Вот бросим пить — доберемся до вас! Если бы в России не пили — давно построили бы рай на земле. Или перерезали друг друга.

Украинский вопрос

Сегодня произошло невероятное: Синяк дал в рыло Феде. Все просто очумели. Начиная с самого Феде. Мы думали, он Синяка убьет. Он мог это сделать одним щелчком. Синяк уже сжался от ужаса расправы. А Феде загоготал и сказал:

— Битва за Мариуполь, часть вторая. Ты бы руки-то помыл, раньше чем к человеку прикасаться. Тоже мне, русская военщина. Тянется своими грязными лапами. Куда не просили.

Синяк понял, что может пронести, и стал извиняться. И все выпили, потому что еще было что.

— Ну — за нас! — сказал Седой. — Русский бомж — самый патриотичный и политизированный бомж в мире!

Рожа диссидентская. Провокатор. Они всегда людей стравливают. Хрен ли ему эта Украина, тут не знаешь, как самому-то прожить. Крым ему обратно отдай. Можешь — попробуй, не можешь — не свисти. Это Седой сегодня на митинг врачей ходил. Его хлебом не корми — дай на митинг сходить. Хомо митингус.

— Во-от, — завел он свою шарманку, — больницы закрывают, врачей увольняют, людей морят — а сами на Украине воюют, деньги грохают, людей убивают, только бы от гибели собственной страны отвлечь.

И Мент с нами случился.

— Урод ты недоморенный, — сказал Мент. — Крым и Новороссия — это исконная русская земля. И там наши братья сколько вытерпели от проклятых бандеровских фашистов. Ты представь, что тебя на старости лет на украинскую мову переучивать будут, чмо ты либеральное.

Седой так и завершал:

— А что хорошего эти бандюки туда принесли? Грабеж, нищету, бесправие? Ты че хочешь — чтоб по всей бывшей Украине такие же бомжи сидели по подвалам, как мы сейчас? Да если б мы туда справедливость и процветание несли — они бы все сами к нам побежали! Кремлю бы только свою вертикаль власти всем в зад воткнуть!

Мент аж запыхтел — а сам не видит, что синеть начал:

— Там лучшие люди, патриоты, добровольцы, жизни своей не жалеют, чтоб русским братьям помочь свободу отстоять.

— От кого отстоять, ты че пургу метешь?

— От фашистско-бандеровской хунты, которая в Киеве захватила власть в результате вооруженного переворота.

— С какого бодуна?!

— По американским планам, на американские деньги. Ты ваще не в теме?

— На хрена?!

— Чтобы ослабить Россию, расколоть русским мир, перетянуть Украину на Запад.

А у Мента уже пот по роже покатился. Недолго он еще дискутировать тут будет. Но еще плечи расправил, грудь вперед, подбородок задрал — умора, бомж-гвардеец.

— Что, даром у Путина рейтинг восемьдесят семь процентов? Наши прадеды за эту землю кровь проливали!

— Ага — а теперь мы прольем. Кровоопускание полезно народу. Чтоб против власти бунтовать не вздумал.

Но это Седой выкрикивал уже в спину Менту, который на полусогнутых покорячился в темный угол: блевать. Я этого давно ждал. Он же патриот с обостренным рвотным рефлексом. Русский феномен: голова за власть, а желудок за оппозицию. Сверху патриот, а изнутри блюет. То есть человека ввергают в муки собственные убеждения. Не позавидуешь.

Тут Синяк и говорит, что хорошо бы всем податься в Донецкую Народную Республику. Вот только здоровье поправить немного, почиститься и искать ближайший вербовочный пункт для добровольцев.

— Оденут нормально. Кормить будут. Оружие дадут! И будешь ты — власть.

— Винтовка рождает власть, — задумчиво проговорил Седой. — Прав был Мао... Правда, по-моему, китайцы не пьют...

— Мао там не Мао, а все равно подыхать, так хоть пожить немного по-человечески.

И хоть гадов с собой на тот свет забрать сколько можно!

— А вот я бы пошел на ту сторону, — прогудел Федя.

— Это почему?

— Ментов бить. Они ж туда едут, поди, омоновцы разные? Вот так из акаэма в лоб — шелк! — и нет одного.

— Ты что — предатель?

— Предатель у нас — Седой. Так что место занято.

Тут Седой, умный сильно, пустился читать лекцию. Лекция шла с комментариями народа, кратко причем. Ему бы, конечно, по телевизору выступать. Значит, в девяносто первом мы границы утвердили, в девяносто четвертом Украина нам отдала все ядерное оружие, и мы опять же за это границы ей гарантировали, а в две тысячи третьем в третий раз подтвердили границы. А в четырнадцатом году подло и коварно нарушили все договора и оттяпали у Украины Крым и Новороссию. Ввели свои войска. Можно подумать, что-то новое сказал.

Синяку, конечно, против Седого делать нечего. А Мент блюет. Жалко его. Все выпитое ведь сблевал, что еще не всосалось.

Я говорю:

— Слушай, хрен ли тебе эти хохлы? Они же вопили: «Москаляку на гиляку!». Кстати, хоть бы кто когда сказал, что такое эта гиляка?

— Виселица, пирамидчик хренов.

— Вот! Именно! А у нас украинцев никогда не презирали. Хотя знали: где один хохол про-

шел — там двум жидам делать нечего. Да пошли они все — Одессу и Севастополь на украинску мову с русского языка переучивать.

— Так что теперь — убивать их?

— Зачем. Сами накроются. Потому что должны были сделать два языка государственные — русский и украинский. И два региона — русский и украинский. Федерация.

Нет, я балдею: бомжи за политику ругаются. Вот уж поистине раскололи народ своей украинской войной.

Синяк верещит:

— Фашисты они фашисты и есть. Бандеровцы всех резали! И поляков, и евреев, и коммунистов, и русских. А Новороссию Суворов у турок отвоевал!

Мент приполз из темноты, глаза красные, как у вурдалака. И тоже стал думать, что сказать — и что хочет, и чтоб не сблевать. Нашел:

— Там под Симферополем отличный был учебный центр. Палестинцев тренировали. Объекты захватывать, в том числе самолеты. И под Киевом отличный был центр. Учили их ракеты делать, чтоб далеко летели, инженеров их готовили.

А Седой Мента не любит — как кошка собаку:

— Твои арабские фашисты русских на Кавказе резали, а евреев и сейчас в Израиле убивают. Обучили на свою голову, кретины. Так что Украина правильно люстрацию провела — всех кэгэбэшников вонючих вон с работы, и коммунык за ними! Вот кто настоящие нацпредатели!

Мент в него кружкой — швырк! — и по

кумполу-то лысому блестящему звонко так: банг! Седой на него понес — матерится он художественно, это концерт. Богато человек языком владеет. А Мент сидит и лыбится:

— Спасибо, — говорит, — браток, мне сразу хорошо стало. В своей тарелке. Хоть еще выпить, да нету уже.

А Федя говорит:

— А ведь если поеду и поступлю в украинский батальон — вот-то я вас, сук, нащелкаю. А то развонялись, политики.

А Седой уже никого не слушает — в пространство речи толкает, для невидимой международной аудитории:

— Есть жесткая историческая закономерность между степенью авторитарности режима и его агрессивностью. Никогда демократическое государство не нападало на другое государство с целью захвата территории и установление желаемого для себя режима, не будучи к тому вынуждено. Внутренняя емкость демократического государства с точки зрения государственной энергии очень велика. Демократическое государство постоянно само потребляет энергию своей системы — всячески устраивает свою жизнь, жизнь и деятельность граждан.

Авторитарный режим вынужден все жестче и полнее контролировать все сферы деятельности своих граждан, поэтому их скрытое сопротивление растет все больше. И, с одной стороны, власть должна как-то отвлечь народ и сплотить вокруг себя против внешнего врага. А с другой стороны — и это главное — у авто-

ритарного режима, когда он закрутит гайки внутри страны, образуется большой и нерасходуемый запас авторитарности, запас авторитарной энергии. Если система создана — она должна исполнять свою функцию. Авторитарная система существует, чтоб все авторитарно упорядочивать. И когда внутри государства порядок наведен и гайки закручены — энергия авторитарной системы обращается наружу, во-вне, в международное пространство. И этой системе потребно расширять свою территорию авторитарным методом, то есть через агрессию, и там тоже закручивать гайки на свой манер. Возьмем Северную Корею или Кубу с их малым потенциалом, но агрессивной идеологией. Казалось бы, им следует заняться собственной слабой экономикой и культурой, но...

Федя зевнул, тоненько заскулив, как собака, и перебил:

— Ты знаешь, что это: в одно ухо влетает, в другое вылетает?

— Что?

— Лом.

— Людям дорого, чтобы их страна была мощной и уважаемой. Общее главное личного, — сказал Мент и прижал руку к подложечке.

— В дерьме сдохну, но империю не отдам, — глумился Синяк.

Седой плюнул и предложил им всем коллективно заняться онанизмом — это у них может получиться лучше, чем политика. Ему сказали, что пусть этим сначала правительство займется, у него тоже это лучше получится.

Телезвезда

Вот я и прославился второй раз в жизни. Причем с другой стороны. В смысле — в противоположном положении. То есть не как новый русский, а как старый бомж. М-да. Богатая биография. Живешь-живешь — до всего доживешь.

Сижу я, стало быть, на цокольном выступе, ну этом выпуклом канте дома, по верху фундамента идет. На южной стороне улицы. Греюсь спокойно и на прохожих смотрю. Я лично себя не стесняюсь. Стараюсь не вонять, ссаться в штаны обыкновения не имею, лицо и руки мою каждый день, и барахло поновее прежде всего надеваю на себя, а меняю и пропиваю уже во вторую очередь.

А метрах в сорока, возле «Бытовой техники», припарковалась «газель» с эмблемой ТВ. Мужик раздвинул треногу и насадил камеру, а девочка в джинсах и красной курточке стала совать прохожим микрофон.

Забавно смотреть, как люди клюют на микрофон. Как рыбки на наживку. Лица такие смешные — тупость и важность одновременно, и при этом неуверенность в себе. А остальные идут мимо — и косятся, тоже хотят, чтоб их спросили и в телевизоре показали. На улице шум, мне их слов не слышно, да и хрен ли они могут сказать. Свое куцее одобрение политике Кремля или неодобрение росту цен все равно на что.

Я никогда в жизни не был в театре. Не срослось. Ни случая не было, ни потребности.

Вот улица — это лучший театр. Здесь всего насмотришься.

И тут девушка поворачивает голову в мою сторону, а оператор ей что-то толкует. И они кочуют будто ко мне.

И в самом деле ко мне. Охренеть. Сразу народ стал собираться. А девушка милая сует вперед свой микрофончик и начинает:

— Можно задать вам вопрос?

— Смотря какой. — Конечно, мне любопытно. Прошли те времена, когда эта братия по два часа меня в приемной ждала. Уж и я не я, да и они не они.

— Скажите, пожалуйста, у вас есть собственное жилье?

Ага; а то по мне не видно.

— Есть, — говорю, — и даже два. А в перспективе будет еще одно.

Она милая такая, свежестью пахнет, слегка парфюмом, и заткнулась на несколько секунд, забыла ротик закрыть: соображает.

— А... какие у вас... какая недвижимость?

— Огромная у меня недвижимость. Подвал не движется, коллектор не движется, заводские цеха не движутся, вот и улица эта наша с вами не движется. Так что у меня всегда одно жилье основное, а другое запасное. На случай, если в основное попасть не удастся. А в перспективе, сами понимаете, два квадратных метра, не подлежащие отчуждению.

Она подумала, покряхтела и стала пере-страиваться:

— Это замечательно, что вы не теряете чувство юмора! Никогда не надо унывать — все в жизни повернется к лучшему!

— Главное — под него не попасть, когда оно поворачиваться начнет, к лучшему, а то мокрое место останется.

Народ заржал. Девушка приободрилась.

— Скажите, вот вы — представитель немущих слоев населения. Для нас — позор, что есть люди, которым негде жить. Вы слышали, что областное законодательное собрание одобрило сокращение социального жилья? Как вы к этому относитесь?

— Я к этому не отношусь. Строят они, не строят, — один хрен, простите, бомжи были и будут. Они построят и промеж себя все поделят.

— То есть вы не верите в улучшение своей жизни?

— Девушка, вы видите, какой я синий?

— Не-ет...

— Это потому что вы в розовых очках. Я верю в улучшение своей жизни, я так верю, что аж посинел! Синие лица вообще у бомжей видали? Это потому что мы сильно верим в улучшение своей жизни.

— Пить меньше надо, — посоветовали из толпы.

— Вы не правы, товарищ. Не выпьешь — не поверишь.

Народ снова заржал. Я чувствовал себя в ударе, голова была хрустальная и четкая, как много лет назад, как в молодости, когда я был

королем и дирижировал куче восторженных менеджеров, внушая наверняка втюхивать лавины моих фантиков.

Девушка совершила умственный маневр.

— Вот вы — обездоленный человек, живущий в великой богатой России. Скажите — какие чувства вы испытываете к своей стране? И можете ли гордиться ей?

И тут произошло нечто странное, будто я начал говорить без участия головы, само пошло:

— Гордишься ведь не своей жизнью. Гордишься историей своей страны, ее победами, ее культурой, ее богатствами, открытиями ее великих ученых. Мы все гордимся Россией, великой страной с огромным будущим.

Сказал и думаю: во залепил. Во что телевидение с человеком делает.

У девушки — бровки вверх, а ротик до ушей. И — с подъемом:

— Наш мэр выступил с инициативой обеспечить всех граждан трудоспособного возраста рабочими местами. Если бы вам предложили любое рабочее место на выбор, что бы вы хотели делать?

Но я уже пришел в себя.

— Я бы хотел работать лифтером.

— Э-э... где?..

— В женской бане.

— В смысле, простите?

— Лифчики с женщин снимать.

Толпа загоготала. Я всегда имел успех у кретинов. Это древняя и хамская шутка, от старпера-то девушке. Она немного побледнела

и поджала лицо. Решала задачу: оскорбиться и с презрением уйти — или принять вызов и доказать поганому бомжу свое интеллектуальное превосходство. А уже тогда уйти. Гордо.

— А если серьезно? — спросила она, поднявшись над пошлым юмором. — Что вы хотели бы делать в жизни? Или ваш сегодняшний образ жизни — это ваш выбор?

— Этот выбор никто не делает добровольно, девушка. К нему жизнь толкает. Кого с жилплощади выписали, кто документы потерял, кто от семьи сбежал, ну и всякое такое. А когда приспособишься — делать уже ничего вообще не хочется. Вот вам хотелось бы ничего не делать? Ну — вилла, богатый муж, яхта, показы мод. И ни-че-го не делать?

— Ого! — ответили в толпе. — Мечта всей жизни! Москва — чемодан — Ницца!

— Так вот — у меня это все уже есть. Причем — без мужа, виллы и яхты. Ноу проблем!

Лицо девицы исказилось от мучительного умственного усилия. Ей явно хотелось оставить в своем репортаже колоритного бомжа с парой фраз по теме.

— Вы чувствуете в последнее время падение своего жизненного уровня?

Я всегда знал, что тележурналистки — идиотки, но не знал, что настолько.

— Если вы подскажите, куда мне еще упасть, я готов попробовать.

Ишь ты — мне заплодировали.

— То есть на вас, как на представителе самых неимущих слоев населения, общее падение

жизненного уровня не отразилось. Сейчас вы не имеете возможности работать — и однако одобряете ли вы инициативу мэра о создании рабочих мест?

Опять двадцать пять. Городское телевидение. Ей важно, свеженькой подстилке, чтоб даже бомж поддержал мэра. Соцзаказ у нее свербит. Между ног.

— Девушка, вот когда мэр станет бомжом («Скорей бы!» — крикнули в толпе), а я мэром — приходите, и я дам вам интервью. А пока — где я и где мэр? И какое мне дело до него, а ему до меня?

— Хорошо, последний вопрос: что бы лично вы могли пожелать городским властям? Возможно, больше заботиться о бездомных и бедных?

— От их заботы мы вообще выйдем. Я им желаю выйти на покой и окончить свои дни там, где им и место — половине в тюрьме, а другой половине в сумасшедшем доме.

— Хорошо. Тогда такой, самый последний вопрос: что бы вы хотели, чтобы я у вас спросила?

— Спасибо. Тогда я открою вам свою мечту. Спросите меня: хочешь со мной потрахаться?

— Да ну тебя к черту, старый хрен, — раздраженно сказала девица. — Я на работе, работаю я, ну неужели не понятно? Ладно, не пропадать же разговору. Ну хоть пожелай на прощание нашим телезрителям чего-нибудь. Без матюгов только! Итак (она снова перешла на оживленный приподнятый тон): что вы, с

вашим нелегким жизненным опытом, хотели бы пожелать нашим телезрителям?

— Никогда и никому я не позволял сделать себя несчастным. И вы не позволяйте. Рвите глотки гадам, уходите в бомжи, но никому и никогда не позволяйте сделать себя несчастными.

— Ладно. Выберем кое-что. Спасибо. — Она отвернулась и отдала микрофон оператору, всунувшему его в гнездо сбоку камеры.

— Алена, я предупреждал, не фиг лезть к этому бомжу, — сказал оператор, складывая ноги штатива.

— Интересно, кем он был, — сказала девушка, перестав обращать на меня внимание.

— Никем он не был.

Люди разошлись. И я пошел. После творческой работы возникает потребность выпить.

Гибель Третьего Рима

Всем известно, что к Пророку приближаться страшновато. Даже если редко и без задних мыслей — открыто попросить немного деньгами помочь. И что меня черт вдруг дернул за ним следить — даже объяснить не могу.

А он вдруг повернулся на тротуаре и пошел среди прохожих мне навстречу. И вроде глаза патлами закрыты, как у терьера, а я его глаза вижу — и шевельнуться не могу. Вот такая ерунда. Стою, как в столбняке.

Он подошел и спрашивает:

— Знать много хочешь? Ну, пошли.

И пошел я за ним. Пока шел — подумал: я ж теперь к нему дорогу знать буду, а этого никто не знал, значит, убьет он меня, чтоб дом его не открылся. А все равно иду за ним, как привязанный. А потом сообразил: если он захочет, чтоб я забыл к нему дорогу, так я ее ввек не вспомню. Я и так уже мало чего помню. И от этой мысли мне полегчало.

В каком-то дворике он спустился на шесть полуподвальных ступенек у стены, всунул в скважину ржавой двери странный кривой ключ, и внутри стали с тяжелым таким металлическим стуком отходить запоры.

— Заходи, — велел он, а дверь сама закрылась.

В его полуподвале было чисто, как обычная комната с кроватью и столом, а на полу стоптанный ковер. Он налил из крана воды в чайник, поставил на плитку и включил ее. Все типа обычной дворницкой. Может, он дворником оформился? А чего к горсовету ходит? Может, просто миссия у него такая. А может, такая форма сумасшествия.

— О сумасшествии не думай, а то двинешься, — предупредил он, не поворачиваясь. — Говори — чего хотел?

Ребята, я ничего не хотел. Но тут понял, что конечно хотел. Само собой, иначе зачем бы я за ним следить пытался.

— Ну? — приказал он, повернувшись, снял пальто, сел на стул, а мне кивнул на другой.

Глаза у него оказались не черные, а серые,

а белки желтые с красными прожилками.

И тут я понял, что задаю главный в жизни вопрос. Следователь был, мама умерла, бомжом я стал, и вот только тут у него в полуподвале я задаю главный вопрос своей жизни. Наверное, я побледнел даже.

— Не бойся, — сказал он. — Чему быть — того не миновать. Сам знаешь.

Все оказалось так серьезно, что серьезнее и быть не может. Я прямо похолодел от своего вопроса. И спросил:

— ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ?

У него что-то в лице сделалось такое, будто он вздохнул. Хотя лицо оставалось неподвижное, как всегда.

— Оно тебе надо? — спросил он с высокомерием и сожалением одновременно (мне так показалось).

— Надо, — услышал я свой ответ.

— Груз понесешь, — сказал он. Из вполне ветхого, но годного стола выдвинул ящик, достал марку и развернул. Ишь ты. Кокс или герыч?

— Нюхни, — сказал он, и я осторожно взял бумажку со шепотью белого порошка, на тихом вдохе поднес к носу и нюхнул, без всякой трубочки, чуть сложив бумажку желобком. Кокаин. Вцепилось, приморозило; задышалось. Я в этом не очень разбираюсь, кайф барский, нам не по карману, но когда-то ведь баловался: похоже, высшей пробы кокс, вообще не разбодяженный.

— В глаза мне смотри, — велел он. — Руки протяни мне.

Я повиновался. Если кто не помнит, его кличут Пророк. Правильно делают.

Он взял мои руки в свои, мосластые и теплые. И что-то сделал глазами.

И — н-и-ч-е-г-о не произошло. Вообще.

— Ну? — спросил он. — Чего ждал?

И я понял, что, конечно, ждал. Чего-то типа кино 3D в воображении. Как все рушится, горит, разваливается на части, толпы бегут, тела падают, — это негативный вариант будущего. Или наоборот — беломраморные дворцы и гармоничные красавцы среди сплошного изобилия. Это позитивный вариант, хотя кто ж сейчас верит в позитивный вариант. В общем, эпический фильм катастроф с абсолютным приближением к реальности.

А вместо величественных видений — я так же сижу на расшатанном стуле. Внутри у меня пусто, и эта пустота очень тяжела. Потому что я все отлично знаю, что и как было дальше. Оно еще только будет, но в будущем оно уже сбылось. К будущему слово «помнить» не подходит, но если память обратить не назад, а вперед, то получится именно то: мне помнить что назад, что вперед, — один хрен.

Но поскольку в виду я имел не Господом быть всеведущим, конечно, а гораздо конкретнее — что в России-то у нас будет лет на двадцать и сто вперед? — это и помню. А память вещь грустная, хотя от нее никто не откажется. Многое тяжело помнить. А стало, конечно, еще тяжелее.

Но вот подлая человеческая натура! — я тут же подумал, что с этим своим знанием мог бы теперь устроиться политтехнологом самого высокого, высочайшего уровня. Причем лучше сразу в США. Спокойнее. Уровень выше. И одновременно закрутить большой бизнес — моей информации цены нет.

— Про Кассандру слышал? — спросил он. И сразу отчетливо осозналось, что никто мне никогда не поверит, и подробности скоро забудутся, и никакого навару мне с этой наперед-памяти не будет. Я ведь просто знать хотел — ну вот и узнал.

Он угостил меня чашкой чаю — чай хороший, чашка хорошая, — и я пошел. Шел и вспоминал то, что узнал.

...Будущее началось вскоре после окончания русско-украинской войны. Началось оно с кремлевского переворота. Однажды утром всех известили, что раб на галере изнемог от трудов, и вместо Путина теперь будет его верный друг и преемник Серебров. Серебров был мужчина внешности неопределенной, и из Википедии явствовало, что и он пленец гнезда лубянского.

Федеральные каналы замерли в параличе и неделю гнали с экранов исключительно вести с полей, успехи медицины и все варианты Комеди-Клаба. Потом открылись задвижки, и хлынул водопад из светлого будущего. Мирнолюбивая политика, все деньги вернуть в Россию и вложить в отечественную экономику,

полная свобода СМИ и досрочные честные выборы. Сначала осторожно сказали о некоторых ошибках, но еще через неделю счастливые СМИ навесили на Путина столько собак, сколько не съела бы вся Северная Корея.

И процесс пошел. Очередная свобода. Очередная модернизация. Толпы вывалили на улицы с флагами всех цветов спектра. Патриоты били геев. Мигранты попрятались по щелям. Демократы потребовали смещения всего правительства целиком, полиция прикинула соотношения толп и отказалась их бить. Московский чеченский полк МВД был брошен на подавление беспорядков, столкнулся с отстрелом своих бойцов и убыл на Кавказ. Но это все детали.

Страна развалилась, вот что главное. В регионах пошли стихийные выборы, и все регионы ненавидели зажавшуюся Москву. В Хабаровске объявили Приморскую Республику с ориентацией на Китай и Японию. Они дадут займы, мы построим деревообделочные и мебельные комбинаты, рыбоконсервные фабрики, проложим дороги и будем жить как люди. Казнокрадов и наркоторговцев расстреляем, ОБСЕ нам не указ.

Западная Сибирь объявила себя особой экономической зоной — раз она кормит налогами с нефти-газа всю страну. Народ еще пару лет не понимал, что «особая зона» — это переход к экономической и политической независимости. На хрен им балласт в виде ста миллионов российских дармоедов.

Вообще ничего неожиданного не произойдет. Границы всех разломов давно различимы. И причины предсказаны. Характерно что? Начнут сокращать проклятых расплодившихся чиновников. Прекратят отсылать деньги в федеральный бюджет, чтоб потом из него обратно кланчить; и будут на местах зарабатывать, распределять и финансировать. И вдруг окажется, что кроме централизованных и замкнутых на Москву чиновников — единое государство Россия никому не нужно!..

Огромное, громоздкое, управлять невозможно, бюрократия разъедает все, законы принимать трудно, и человека оно не видит в упор.

Пойдет бешеная пропаганда сепаратизма: что это прогрессивно, это демократично, это экономически эффективно, люди на местах могут работать по уму и сами себе быть хозяевами. И безмозглые рашн-демократы, объявляющие свободу и пользу синонимами, загадят всем мозги расцветом и равенством всех культур и народов нашей великой и любимой России. Тут настанет ей кирдык.

Татария и Башкирия, они же станы, объединятся в исламскую конфедерацию и продвинутой своей культурной автономии как раз до черты политической самостоятельности.

Промышленный Урал попытается объединиться с Западно-Сибирской Республикой. Чечня перестанет получать дотации из опустевшего московского бюджета — но и свои нефтяные деньги перестанет туда отсылать,

оставляя себе. В руке помощи Исламского Государства не сомневайтесь.

Страшно интересно выступит Санкт-Петербург. Недаром культурная столица. Ему не фиг ловить вместе с Москвой и Кубанью. Питер вспомнит Новгородскую Республику, демократическое русское государство, и объединит под свою руку Мурманск, Архангельск, Воркуту, Петрозаводск, Псков и Новгород. Северо-Западная Российская Республика. Торговля, лес, лен, высокие технологии.

На Дону и Кубани стоят памятники Краснову: наконец казаки имеют собственное государство. Земли плодородные, реки полноводные, народ здоровый, чем не жизнь.

И ни Северо-Запад, ни Урал с Западной Сибирью, ни Приморье — никто не отдаст ядерного потенциала. Соседям веры нет — все помнят Украину: каких ей только гарантий ни давали, чтоб разоружилась, а в удобный миг порвали. Пакистан имеет, Корея и Израиль имеют, — а нам что, нельзя?!

Все пройдет через период еще большей бедности и развала. И еще больше умных и энергичных свалит на Запад. И будут гордиться потомки великим Советским Союзом — как ленивая шумливая Италия гордится красотами и величием римской Империи.

Да — Лубянку разнесут наконец. Архивы не столько откроют, сколько уничтожат. В семь подвальных этажей экскурсии водить будут.

Деньги на чистую науку аккумулировать будет уже невозможно, так она еще при Пути-

не окончательно издохла. Большой Театр останется — он прибыль приносит, оправдывает и балетное училище.

И главное — все постепенно так, обыденно, без драм. История — это, братцы, не театр. Люди продолжают работать, поднимать детей, копить на квартиры, делать подарки к праздникам. Вокруг тебя-то ничего не меняется особо — ну, вывески другие, деньги поменяют, потом паспорта поменяют — к этому привыкают легко.

Не будет больше величия страны.

И вот парадокс — с чего бы это я, бомж, сплюнутый этой самой страной на помойку, тоскую по ее грядущему падению? Видимо, потому, что человек не остров, не сам по себе. Вон колоколов сколько повешали по храмам — и все они звонят по каждому из нас.

...У меня есть черный фломастер, который еще немного пишет. За магазином я оторвал квадрат картона от коробки и написал:

Прошу честно —
помогите собрать
на бухло

Сел на выступ цоколя недалеко от магазина, и мне набросали мелочью за час сто тридцать рублей. Я чувствовал, что контроля не будет и рыло мне не начистят, но больше часа не рискнул.

На эти деньги я купил поллитра водки «Зеленая марка» и полбатона. И выпил как человек за славное прошлое нашей великой Родины,

за горькое ее будущее, и за всех, кому придется в это будущее идти. И пошел спать к себе на трубы.

И долго не мог заснуть. Как тут заснешь после такого. И рассказывать никому не охота.

А вот потом пошло кино: все внутри у меня гудело, я знал, что сплю, и при этом знал, что все происходит на самом деле, а мне кажется, будто я сплю. Вот там горели города, рушились стены, наступали армии — и все люди были бомжи. Они притворялись командирами, врачами, пожарными, офисным планктоном и бизнесменами. И работяги были бомжи, и даже олигархи были бомжи. И бомжающие менты их гоняли. У них была не своя одежда, они жили не в своих домах, и хотели они только дожить до вечера, набить брюхо и лечь спать в тепле. И огромная страна, заселенная бомжами, превратилась в множество островков, и бомжи махали с берега друг другу руками.

Иногда страшно мучит, когда не можешь вспомнить какую-то фамилию или еще что. Вот я помню, что это сказал древнегреческий философ, так примерно: человек создает мир по образу и подобию своему, и страдания его в этом мире — это страдания собственного несовершенства.

А вот в газете, в МК, это точно Минкин написал: «Превратить людей в бомжей просто — надо лишить их родины». Он отлично пишет, и про нас тоже писал.

Если я, конечно, ничего не путаю.

Затянувшееся прощание

Скоро я отсюда уеду.

· Я уйду от вас. Я не хочу быть с вами. Я не люблю вас.

А может, и люблю. Вы ведь не виноваты, что такие, какие есть. Наверное, все-таки люблю. Других ведь у меня нет. Других я просто никогда не знал. Вы — моя жизнь. Только это ничего уже не значит. Если что-то в любви кончилось, незачем цепляться за видимость того, чего уже нет.

Один великий патриот сказал: «Родину нельзя унести с собой на подошвах башмаков». При чем тут башмаки. Родина остается в душе, и она с тобой. А если в душе ее нет, то считай и нет вовсе, и от места это не зависит, где ты ни будь.

Главное — дожить до лета. Настанет лето, и тогда все будет легко. Я отправлюсь потихоньку на запад — товарных поездов еще много. И перееду в Беларусь. Между нами ведь нет границы.

А из Беларуси перейду в Литву. Граница там европейская — не то, что в советские времена, когда я служил в армии. Сплошной колючей проволоки и распаханной полосы давно нет, место приглядишь заранее — и перейдешь спокойно. А Литва — это теперь уже Европа. Там должны быть нормальные приюты для бродяг, если кто хочет помыться, и получить благотворительную одежонку, и подкормиться немного. За это я даже согласен недолго поработать. Дворником, разнорабочим, — все рав-

но кем. Придумаю себе биографию, получу какой-нибудь документ.

И двинусь потихоньку дальше на запад. В какой это было книжке — «Держи на Запад!». Законы там либеральные, помереть на улице с голоду не дадут. Красть я не буду, наркотой торговать не буду, вреда от меня никакого.

Что я там буду делать? Нечего мне там делать. Но я не хочу каждый день видеть кругом то, что вижу сейчас. Лишние мы все тут люди — а ведь мы у себя дома. Так уж лучше я буду не у себя дома. Лучше тоска по родине, чем отвращение к ней.

Вы думаете, это я останусь без родины на чужбине? Это вы тут останетесь без родины. Потому что Родину я заберу с собой. Заберу всех, кого любил, кто мне дорог. Всех, кого помню. Всех, от кого видел добро, и от кого видел зло — тоже заберу, потому что зло — это тоже жизнь. Родина — это память и любовь. Еще это надежда и вера — так я их тоже заберу с собой. Потому что на этой земле надежды и веры уже не осталось.

Удивительное это дело — страна есть, а родины уже нет. Я и не заметил, как это постепенно произошло, пока однажды не спохватился.

Я буду лучше жить, перестану пить страшную отраву и проживу дольше. И буду выглядеть моложе, чем сейчас. Может быть, во мне опять появится энергия, и мне удастся как-нибудь перебраться через океан в Америку, и я буду подрабатывать иногда на фермах и колесить на попутных по этой огромной стране.

А может, я уеду иначе, как уезжают все наши. Не проснусь, заснув в мороз после выпитого. Или подхвачу воспаление легких, ночая на цементном полу. Или окажется, что у меня давно гепатит, тогда умирать будет тяжело, вот уж упаси боже. Или улечу по длинному, расширяющемуся изгибом вверх тоннелю, подсвеченному фиолетовым свечением от готических шестигранников, из которых выложены стены — и вырвусь наконец в ослепительный свет, который и есть вечное счастье и единение с бытием.

Или вдруг окажется, что Испании есть король, и этот король нашелся, и этот король я. Есть и такой вариант отъезда. Тихо-тихо, не спеша, едет крыша чуть шурша. Наполеон уехал в Фонтенбло. Вот это лучше не надо. Но кто нас спрашивает, как мы хотим жить?

Внутри себя я постепенно уезжаю каждый день. И эта крепнущая готовность раньше или позже превратится в действие. В простое и конкретное действие — как стук вагонных колес, или стук земли по деревянной крышке, или стук каблучков санитаря по кафельному коридору.

Если душа твоя жаждет дороги — она ее получит. Вот только маршрут нам прокладывают сверху.

Только бы пережить эту страшную зиму. Пусть все больные, все убогие, все бездомные и одинокие переживут эту страшную зиму.

А потом будет весна, и будет легче. И каждый пойдет своей дорогой. И никто не будет проклят.

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

16+

Веллер Михаил

Бомж

Роман

Подписано в печать 23.12.14. Формат 80x100 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 11,76. Тираж 33 000 экз. Заказ № 7805.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, ком. 5

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым. 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

www.oaompk.ru, www.o4omnk.pf тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера «Хочу быть дворником», отвергнутых всеми редакциями, выходил в Советском Союзе пять лет и произвел сенсацию. Автор был принят в Союз писателей СССР по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. В совершенно иных жанрах созданы стократно переизданные бестселлеры «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Теория энергоэволюционизма, впервые изложенная в трактате Веллера «Все о жизни», отмечена медалью Всемирного философского форума в Афинах. Новый роман Веллера написан в русле главной гуманистической традиции русской классики: жажда справедливости «униженных и оскорбленных».

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-089441-3



9 785170 894413